

ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ



ЧЕСТНЫЙ
ТРУД
СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ

ВЛАДИМИР ЛЕНСКИЙ



СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

Ярослав Золотарёв
Владимир Ленский

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Владимир Ленский / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Ленский должен был погибнуть на дуэли. Но пуля Онегина лишь ранила его — и пушкинская история пошла совсем другим путём. Разочарованный в любви, поэзии и привычной дворянской жизни, Владимир оставляет Россию усадеб и гостиных и отправляется в Сибирь. Там никого не интересует, хороший ли он поэт и учился ли в Германии. Здесь нужно пережить якутскую зиму, пройти дороги вдоль Лены, научиться жить среди людей Севера, работать ямщиком, искать золото и защищать своё дело от тех, для кого богатство важнее человека. Романтический герой пушкинской эпохи оказывается в мире, больше похожем на мир Джека Лондона, — суровом, огромном и свободном. «Владимир Ленский» — история о том, что могло случиться с человеком, которому судьба неожиданно подарила вторую жизнь.

Содержание

Глава 1. Детство	5
Глава 2. Отрочество	10
Глава 3. Юность	17
Глава 4. Евгений Онегин	25
Глава 5. Деревня, где скучал Евгений	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Ярослав Золотарёв Владимир Ленский

Глава 1. Детство

Владимир Ленский родился в конце февраля, в ту пору, когда в средней полосе России зима как будто нарочно медлит уходить, чтобы измучить последним, самым злым морозом — а после того, отпустив разом, отдаёт землю ранней, почти нетерпеливой весне. Впоследствии домашние любили повторять, что мальчик родился «в оттепель», хотя метрическая книга, будь кто-нибудь настолько дотошен, чтобы в неё заглянуть, показала бы, что мороз в ту ночь стоял в двадцать семь градусов — но правда матерей и нянек редко совпадает с правдой церковных книг, да и незачем ей совпадать.

Отец, Дмитрий Андреевич, человек добродушный, не глупый, но и не отягощённый излишней образованностью — из тех помещиков, что читают календари и хозяйственные руководства охотнее, чем стихи, — выбирал имя долго и с удовольствием, как выбирают доброе вино к торжественному случаю. Остановился на Владимире не из книжной начитанности, а потому, что имя показалось ему звучным и по-русски открытым — «владеющий миром», сказал ему как-то заезжий семинарист, и Дмитрий Андреевич, не проверяя этимологии, охотно поверил и с тех пор гордился выбором, точно сам его изобрёл.

Усадьба, в которой предстояло вырасти мальчику, стояла на пологом холме над рекой — не бог весть какой рекой, скорее ручьём, разлившимся по весне до размеров, достойных упоминания, — и была окружена липовой аллеей, посаженной ещё дедом и к тому времени разросшейся так густо, что летним полднем в ней стоял вечный зеленоватый сумрак, любимый всеми детьми имения за прохладу и таинственность. Дом был деревянный, обшитый тёсом, с мезонином, откуда открывался вид на поля, а дальше — на редкий, но по-русски бескрайний лес, где, как уверяли крестьяне, ещё водились волки, хотя последнего волка в этих местах видели лет пятнадцать назад, да и то, кажется, спьяну.

Мать умерла родами — обстоятельство, которое впоследствии Дмитрий Андреевич упоминал скупно и всегда одними и теми же словами, отчего казалось, что горе его застыло в форме этой единственной, заученной фразы и не развивалось дальше, как останавливается циферблат часов, которые забыли завести.

Соседнее имение — Лариных — отделяли от Ленских всего три версты просёлочной дороги, и когда Владимиру шёл третий год, у Прасковьи Лариной родилась дочь Ольга, событие, которое два семейства отметили за общим столом с той лёгкой, немного заранее заготовленной шутливостью, с какой русские помещики привыкли говорить о будущем: «Вот и невеста жениху растёт», — сказал будто бы Дмитрий Андреевич, поднимая бокал, и все засмеялись, не придавая словам особого веса — а слова, как это чаще всего и бывает, оказались весомее, чем те, кто их произносил.

Дмитрий Андреевич Ленский хозяйствовал так, как хозяйствовало в те годы большинство небогатых поместных дворян средней руки: не бедствуя, но и не богатея, из года в год повторяя один и тот же извечный русский цикл надежд по весне и разочарований по осени, которые он, впрочем, переносил с философическим спокойствием человека, давно смирившегося с тем, что урожай зависит не от усердия, а от воли Божьей и расторопности старосты — причём во вторую куда больше, чем в первую. Крепостных душ числилось за ним что-то около двухсот, и обращался он с ними без той нарочитой суровости, которой отличались иные соседи, наслышанные о новомодных экономических теориях и мечтавшие устроить у себя английскую ферму, но и без сентиментальности, которая тогда уже начинала появляться у людей, читав-

ших не только календари. Он знал старосту Кузьму по имени-отчеству, помнил, у кого из дворовых сколько детей, и раз в год, на Пасху, самолично раздавал по алтыну каждой семье — не потому, что задумывался о справедливости этого мира, а потому, что так делал его отец, а прежде того — дед.

Читал он немного: «Экономический магазин», иногда — старые номера «Вестника Европы», доставшиеся от покойного брата, да ещё, по праздникам, вслух — жития святых, которые слушал скорее сам, чем предназначал слушателям, находя в мерной торжественности этого чтения нечто похожее на молитву. Стихов не понимал вовсе и не считал нужным делать вид, что понимает; когда сын его, много позже, привезёт из Германии тетрадь, исписанную элегиями, Дмитрий Андреевич полистает её с той же миной вежливого недоумения, с какой листал бы французский роман — уважая занятие как барскую причуду, но не находя в нём практического смысла.

О будущем сына он думал просто и без затей: вырастет — женится на Ольге Лариной (дело давно решённое и от повторения ставшее как будто бы уже свершившимся), возьмёт в приданое клин земли у Лужков, будет хозяйствовать не хуже отца, а даст Бог — и лучше, потому что грамоте выучится основательнее, чем сам Дмитрий Андреевич, едва осиливший в детстве часослов да арифметику. Мысль о том, что сын может пожелать для себя иной судьбы — не помещицьею, а какой-нибудь учёной или литературной, — не приходила отцу в голову вовсе, как не приходит в голову мысль о полёте человеку, никогда не видевшему птиц крупнее курицы.

Единственной слабостью, которую Дмитрий Андреевич себе позволял и которой втайне гордился, была любовь к охоте — не безумная, псовая, разорительная, какую вели богатые соседи с их сворами в полсотни собак, а скромная, с двумя гончими и старым Кузьмой в качестве егеря, ружейная охота по перу, которой он предавался с ранней осени до первого снега, возвращаясь домой продрогшим, довольным и ненадолго — редкий для него случай — многословным за ужином.

Усадьба Лариных, если поставить её рядом с ленским домом, выглядела и уютнее, и беднее одновременно — таково было общее свойство хозяйства Дмитрия Ларина, покойного к тому времени, когда наш рассказ подходит к этой поре, но чья вдова, Прасковья Ларина, вела дом с тем упрямым, безалаберным добродушием, которое заменяло ей и хозяйственную сметку, и строгость. Дом был меньше, сад — запущеннее, зато варенья в кладовых стояло по сортам и годам, а на клумбах перед крыльцом цвело всё, что только можно было выпросить у проезжих торговцев семенами, без всякой системы, зато в буйном изобилии.

Владимиру шёл шестой год, когда матушка впервые взяла его с собой к Лариным на именины — не Прасковьи, а старшей её родственницы, приехавшей погостить, повод для визита был, в сущности, неважен: важно было то, что дети наконец встретились не за общим столом, где их сажали рядом по указанию взрослых и где всякая непосредственность немедленно гасла под перекрёстными взглядами матерей, а на воле, в саду, куда их отпустили, велев не шалить и не пачкать платица — распоряжение, исполненное, разумеется, ровно наполовину.

Ольге было в ту пору года три, и Владимир, уже считавший себя большим мальчиком, отнёсся к ней сперва со снисходительным равнодушием старшего к младшей — таскал её за собой по саду скорее из чувства долга, чем из интереса, показывал ей муравейник, показывал, как из лопуха можно сделать шляпу, и был немало удивлён, когда обнаружил, что маленькая Оленька не плачет, не капризничает и не путается под ногами, а с полным доверием и без единого вопроса идёт за ним всюду, куда он ведёт, — качество, которое взрослые называли бы позже кротостью нрава, а сам Владимир, ещё не знавший этого слова, определил для себя проще: она не мешала.

К вечеру, когда детей позвали пить чай на террасу, Ольга уже держала Владимира за руку с той спокойной, ничем не обусловленной привязанностью, с какой маленькие дети при-

вязываются к тем немногим, кто был к ним хоть немного добр, а он, усаживая её на скамью рядом с собой, впервые ощутил нечто похожее на гордость покровителя — чувство, лестное для шестилетнего самолюбия и оттого запомнившееся крепче, чем иные, куда более важные впечатления того лета.

Прасковья Ларина, наблюдая эту сцену с террасы, обменялась с матерью Владимира взглядом, в котором были и умиление, и уже вполне отчётливый хозяйственный расчёт — взгляд, какой обычно берегут для сделок, кажущихся особенно удачными именно потому, что обеим сторонам не приходится в них признаваться.

Сговор этот, впрочем, не был единичным порывом — свершился он не в одну минуту тоста, как могло показаться из позднейших пересказов, а сложился постепенно, за долгую зиму визитов, когда снег делал дороги между именьями то непроезжими, то, напротив, единственно возможными для лёгких санных поездок, скрашивающих скуку долгих вечеров. Дмитрий Андреевич и Прасковья Ларина съезжались друг к другу чаще, чем требовало простое соседство, — не по сердечной склонности, упаси Бог, оба были люди в летах и в трауре каждый по-своему (он — вдовец, она — с мужем, хоть и живым, но неизменно пропадавшим то на охоте, то в клубе), а потому, что разговор о детях сам собою превращался у них в разговор о земле.

За чаем, когда самовар остывал и переходил в разряд декорации, Дмитрий Андреевич заводил речь о том, что клин у Лужков — тот самый, спорный, из-за межевания которого покойный Ларин судился с его собственным отцом ещё в прошлом веке, — по-хорошему следовало бы когда-нибудь свести в одни руки, чтобы не тратиться боле на тяжбы и не гонять два раза мужиков с межевой цепью через один и тот же овраг. Прасковья Ларина, женщина практическая ровно настолько, насколько позволяла её всегдашняя рассеянность, соглашалась охотно — и уже в следующий приезд разговор незаметно съезжал от межи к детям: не завидное ли дело, что растут по соседству, не дал бы Бог здоровья обоим, а там, глядишь...

«Глядишь» это повторялось из вечера в вечер с таким постоянством, что к тому времени, когда Владимиру пошёл восьмой год, а Ольге — пятый, никто уже не помнил, кто первый произнёс слово «жених», — оно возникло само собою, как возникает в разговоре слово, которое обе стороны давно держали наготове и лишь ждали, кто решится произнести его вслух первым, чтобы не показаться чрезмерно расчётливым.

Окончательно же дело было скреплено — не бумагой, разумеется, кто же в таких летах скрепляет детские судьбы бумагой, а куда более прочным способом, каким скрепляются подобные дела в помещичьей среде: публичностью. На именинах самого Дмитрия Андреевича, при гостях, за столом, уже изрядно оживлённым наливками, старая тётка Прасковьи, славившаяся на весь уезд бесцеремонностью суждений, громко предложила выпить «за будущих молодых», кивнув на детей, сидевших тут же и совершенно не понимавших, о чём речь; гости захохотали и выпили с удовольствием, находя тост милым и в меру пикантным; Дмитрий Андреевич покраснел от удовольствия и не стал разуверять; Прасковья Ларина потупилась с видом смущённым, но отнюдь не возражающим — и дело было решено так же прочно, как решаются в России дела, которые никто формально не решал: молчаливым общим согласием, которое отменить труднее, чем любой писанный договор.

Владимир же, будучи спрошен много позже — уже отроком, перед отъездом в Германию — любит ли он Ольгу и желает ли на ней жениться, ответит с полной убеждёностью, что желает, и не солжёт: он в самом деле будет уверен в этом чувстве так же твёрдо, как уверен в существовании собственной руки, — не задумываясь о том, что чувство это ни разу не было испытано на прочность выбором, а лишь подтверждено привычкой, слишком давней, чтобы её оспаривать.

Страсть к чтению открылась в Владимире случайно и рано — в тот год, когда ему шёл восьмой год, а домашний учитель, отставной семинарист по фамилии Пряхин, нанятый ско-

рее для порядка, чем по расчёту на успехи, привёз с собой в имение сундучок собственных книг, надеясь скрасить долгие вечера бедной сельской жизни. Сундучок этот, оставленный без присмотра в комнате, отведённой учителю, был обнаружен мальчиком в один из дождливых августовских дней, когда играть в саду не позволяла погода, а сидеть без дела не позволяла натура, уже тогда не терпевшая пустоты.

Что именно было в сундучке, сказать в точности трудно — вперемешку лежали там и духовные поучения, и старый календарь с описанием чудесных явлений природы, и, что важнее всего, растрёпанный, без начала и без обложки том какого-то переводного немецкого романа, из тех сентиментальных сочинений, что за двадцать лет до того наводнили русские усадьбы вслед за успехом Карамзина, а к этому времени уже вышли из моды и доживали свой век на полках провинциальных учителей. Владимир читал его тайком, украдкой возвращая на место перед приходом Пряхина, и к концу лета — читал плохо, по складам разбирая непривычные обороты, — одолел его целиком, испытав при этом чувство, которое сам, по малолетству, не умел ещё назвать, но которое было ни чем иным, как первым в его жизни соприкосновением с тем родом печали, что сладостна сама по себе и не требует внешней причины.

С этого лета книги сделались для него не занятием, назначенным взрослыми, а потребностью, которую он удовлетворял с той же естественностью, с какой удовлетворял голод, — читал всё, что попадалось: жития святых отца, календари, случайно завалявшийся у соседей французский журнал мод (не по содержанию интересный, а по одной статье о путешествии в Италию), позже — привезённые старшим кузеном оды Державина, показавшиеся ему тогда верхом человеческой мудрости. Дмитрий Андреевич замечал эту склонность без тревоги, но и без одобрения — как замечают у ребёнка привычку грызть ногти: не опасно, но и не похвально, само пройдёт с возрастом.

Не проходило. К десяти годам Владимир уже отличался от соседских детей той особенной задумчивостью, которая взрослым нравится в чужих детях больше, чем в собственных, — способностью подолгу стоять у окна, глядя на дождь, не отвечая на оклики, погружённым в некий внутренний разговор, содержания которого не смог бы пересказать даже он сам. Соседи, впрочем, находили эту черту скорее очаровательной, чем тревожной, и меж собою называли мальчика не иначе как «наш маленький философ» — прозвище, данное с той же полушутливой снисходительностью, с какой давалось некогда прозвище «жених» применительно к его судьбе, и оказавшееся столь же пророческим, сколь и первое.

Пряхин, единственный, кто мог бы разглядеть в этой задумчивости нечто большее простой детской причуды, продержался в доме Ленских недолго — не сошёлся характером с Дмитрием Андреевичем во взглядах на воспитание — и уехал, оставив по себе память в виде опустевшего сундучка да пристрастия, которому предстояло определить всю дальнейшую судьбу его бывшего ученика вернее, чем определили её и сговор родителей, и клин земли у Лужков, и всё прочее приданое благих намерений, которым щедро наделяют детей взрослые, уверенные, что знают наперёд, кем этим детям суждено стать.



Глава 2. Отрочество

Той осенью, когда Владимиру шёл двенадцатый год, Дмитрий Андреевич впервые за много лет охоты вернулся с поля не в обычном своём бодром расположении духа, а молчаливым и как будто пришибленным холодом сильнее прежнего — обстоятельство, на которое в доме сперва не обратили особого внимания: осень выдалась ранняя и сырая, дожди шли с Покрова почти без перерыва, и озноб после целого дня, проведённого в мокрых от росы кустах над болотистой лощиной, казался делом самым естественным для человека его лет, привыкшего, впрочем, к таким испытаниям с юности и прежде выносившего их без последствий.

Кашель, появившийся через неделю, Дмитрий Андреевич объяснял себе и домашним простой простудой, «продует — пройдёт», и продолжал вставать по обыкновению рано, объезжать поля, где убирали последний, запоздавший из-за дождей овёс, вникать в те мелочи хозяйства, которые прежде решал играючи, а теперь — с некоторым, едва заметным даже ему самому усилием, будто дела эти внезапно потяжелели, хотя менялись в них разве что цифры. Кузьма, встречая барина по утрам у крыльца, приглядывался к нему с тем особым, немим вниманием старого слуги, который знает хозяина дольше и, пожалуй, точнее, чем знает его собственная родня, но вслух ничего не говорил — не его ума было дело указывать барину на его здоровье, разве что позволил себе однажды заметить, что тропа через Лужков овраг нынче раскисла и не худо бы обождать с объездом до заморозков, на что Дмитрий Андреевич ответил коротким смехом и поехал всё равно.

Лекарь в уездном городе, за пятнадцать вёрст, был человек известный своей нерасторопностью и пристрастием к кровопусканию едва ли не от всех недугов сразу, отчего обращались к нему в имении неохотно и в последнюю очередь; когда же Прасковья Ларина, заехавшая по соседски и заставшая Дмитрия Андреевича хрипящим и бледным более обычного, настойчиво посоветовала всё же послать за ним, тот отмахнулся с той же лёгкостью, с какой отмахивался всю жизнь от всякой заботы о себе самом: дороги, мол, после дождей не проезжие, да и не в лекаре дело — отлежится, Бог даст, к Михайлову дню будет как встарь.

Владимир, замечавший перемену в отце скорее чувством, чем разумом — той детской чуткостью к малейшим сдвигам в привычном укладе дома, которая безошибочно улавливает неладное прежде, чем оно названо словами, — начал в те недели проводить у себя в комнате больше времени за книгами, чем обычно, как будто инстинктивно ища в них укрытия от тревоги, для которой ещё не имел ни имени, ни права на неё претендовать: ведь взрослые вокруг него держались с нарочитым спокойствием, а спрашивать напрямую, что происходит, было в их доме не принято.

Первый снег в тот год выпал рано, на Казанскую, и продержался всего два дня, растаяв в новой волне дождей, — Кузьма, глядя на эту раннюю и ненадёжную зиму, качал головой и говорил дворне, что год выдался «худой на погоду», вкладывая в эти слова, вероятно, больше суеверной тревоги, чем сам был готов признать, — а Дмитрий Андреевич в тот же вечер слёг окончательно, с жаром, который уже не позволял выдавать себя за простую простуду.

Горячка, охватившая Дмитрия Андреевича, шла приступами — жар сменялся изнурительной слабостью, слабость снова жаром, и в короткие часы просветления, когда сознание возвращалось к нему яснее обычного, он звал к себе сына с тем нетерпением, с каким человек, вдруг понявший цену времени, торопится сделать за несколько дней то, что откладывал на протяжении многих лет.

Наставления его выходили путанными и обрывочными — не потому, что мысль его была слаба, а потому, что она не привыкла облекаться в слова сверх самых обиходных надобностей: «Кузьме верь, а проверяй; за Лужков не уступай, хоть судись — тот клин наш по праву...

Ольгу... — тут голос его слабел, и он умолкал на середине фразы, точно забывая, что именно хотел сказать про Ольгу, хотя, вероятно, хотел сказать лишь то, что говорил уже сотни раз за общим столом с Лариными, — Ольгу не обижай, она добрая...» Владимир, сидевший у постели с той серьёзностью, с какой дети берутся играть непривычную им взрослую роль, кивал в ответ на каждое слово, стараясь запомнить всё, хотя многое из сказанного отцом касалось таких хозяйственных тонкостей — межевых знаков, недоимок, сроков оброка, — в которых двенадцатилетний мальчик, воспитанный больше на немецких сентиментальных романах, чем на приходно-расходных книгах, попросту не мог разобраться, но не смел в этом признаться, боясь огорчить умирающего или, того хуже, показаться ему недостойным наследником.

Раз, в один из таких часов, отец, глядя на сына пристальнее обычного, вдруг сказал слова, которые Владимир запомнит крепче всех хозяйственных наказов вместе взятых — не потому, что они были мудрее, а потому, что в них впервые прорвалось нечто, похожее на подлинное чувство, до того тщательно прятанное за будничностью: «Ты весь в книгах, я знаю... я в них не силен был никогда. Может, оно и к лучшему — ты дальше меня пойдёшь. Только не забывай — земля кормит, не книги», — и, сказав это, отвернулся к стене с тем смущением, какое испытывает человек, невольно сказавший больше, чем намеревался, и тотчас пожалевший об этом.

Владимир же, слушая, испытывал странное, пугающее его самого раздвоение: часть его существа была искренне охвачена горем и тревогой за отца, другая же — та самая, книжная, уже привыкшая примерять всякое сильное впечатление к прочитанным страницам, — с каким-то стыдным любопытством отмечала, до чего сцена эта похожа на десятки подобных, виденных им в романах: умирающий отец, наследство, последние слова, — и это сходство одновременно и утешало его, вписывая непонятное горе в знакомую и оттого менее страшную форму, и вызывало смутное чувство вины за то, что горе его как будто нуждается в литературном подтверждении, чтобы быть прочувствованным до конца.

К исходу третьей недели болезни редкие часы ясности сделались ещё реже, а речи отца — ещё бессвязнее: он путал имена, звал то покойную жену, то Кузьму, то однажды, к общему недоумению домашних, назвал сына именем своего собственного, давно умершего брата — и в этой путанице имён, в этом стирании границ между живыми и мёртвыми в гаснущем сознании было что-то, от чего мальчику стало страшнее, чем от самой мысли о смерти.

Дмитрий Андреевич умер на исходе четвёртой недели, под утро, в тот глухой час, когда даже дворня, обычно чуткая к малейшему шевелению в барских покоях, спит крепче всего — так что о кончине узнали не сразу, а лишь когда старая нянька, зайдя проведать больного с обычным утренним питьём, увидела, что лицо его, ещё вчера искажённое жаром и беспокойством, разгладилось той особенной, неподвижной тишиной, которую ни с чем не спутает человек, хоть однажды её видевший.

Владимира разбудили не сразу — сперва домашние совещались меж собой шёпотом в коридоре, не решаясь взять на себя труд сказать мальчику первыми, покуда нянька, наконец, не вошла к нему в комнату и не сказала просто, без обиняков, как говорят в деревне о смерти испокон веку: «Преставился батюшка твой, соколик», — и Владимир, ещё не до конца проснувшийся, несколько долгих мгновений глядел на неё, не в силах соединить эти простые, привычные с детства слова о смерти чужих людей — соседских стариков, дальней родни — с той конкретной, невозможной мыслью, что относятся они теперь к его собственному отцу.

Похороны справили на третий день, как предписывал обычай, и, вопреки страху Владимира, что дом погрузится в некое торжественное, невыносимое горе, всё пошло своим чередом с той будничной обстоятельностью, с какой в русской усадьбе исполнялся всякий обряд, освящённый столетиями повторения: приехал священник из ближнего села, отслужили панихиду, съехались соседи — не только из сердечного участия, но и по той же неписаной обязательности, с какой съезжались на именины, — и Прасковья Ларина, войдя в дом одной из первых,

обняла осиротевшего мальчика с искренними слезами, в которых, впрочем, уже проглядывала и практическая мысль о том, как теперь обернётся дело с приданым и сговором, коль скоро судьба имения перейдёт в чужие руки опеки.

Владимир стоял у гроба в новом, наскоро перешитом сюртуке, слишком узком в плечах, и чувствовал не столько горе — оно приходило позже, урывками, застигая его в самые неожиданные минуты последующих недель, — сколько странную, стыдную его самого отчуждённость от происходящего, будто он смотрел на собственные похороны отца со стороны, как на сцену из книги, не находя в себе тех слёз и того отчаяния, каких, по его же книжным представлениям, требовала минута; и лишь когда гроб опускали в могилу возле церковной ограды, рядом с давно уже осевшим холмиком над матерью, он заплакал наконец — не от мысли об отце, но от внезапного, пронзившего его чувства собственного, отныне уже безусловного одиночества, о котором прежде можно было не думать, покуда жив был хоть один взрослый, стоявший между ним и целым светом.

После панихиды, за поминальным столом, соседи, отдав должное скорби, довольно скоро перешли к разговорам о хозяйственных делах покойного — кто теперь возьмёт опеку, кому какая земля отойдёт по смерти, — и Владимир, сидевший на своём месте с прямой, не по возрасту напряжённой спиной, впервые ясно ощутил то, что станет одним из главных уроков этой ранней зимы: смерть в мире взрослых — не только горе, но и повод, деловой и почти будничной, немедленно занять освободившееся место в сложном порядке владений, долгов и родственных обязательств, в котором для чистой, ничем не замутнённой печали остаётся на удивление мало времени.

Опекуном по завещанию был назначен младший брат покойной матери Владимира — Аполлон Ильич Верейский, человек лет сорока пяти, служивший прежде по гражданской части в губернском городе и вышедший в отставку с чином, дававшим ему право на некоторый, впрочем скромный, вес в уездном обществе. Родство это было, по правде сказать, не самое тесное — Верейский виделся с сестрой да с племянником от силы раз в два-три года, по большим праздникам, — но иных, более близких родственников по мужской линии не нашлось, а закон и обычай требовали передать опеку по возможности в круг родни, а не в чужие руки.

Приехал он через две недели после похорон, зимней дорогой, уже вполне установившейся, в крепких, хорошо подбитых санях, и первое, что бросилось Владимиру в глаза при его появлении, было разительное несходство этого человека с покойным отцом: там, где Дмитрий Андреевич был грузен, громогласен и прост в обращении, Верейский оказался сухощав, сдержан в жестах и говорил тем ровным, слегка назидательным тоном, каким привыкают говорить люди, много лет составлявшие казённые бумаги и оттого разучившиеся выражать мысль иначе, чем по пунктам.

Знакомство их — дяди и племянника — вышло настороженным с обеих сторон. Верейский, обойдя дом и служебные постройки в сопровождении притихшего Кузьмы, задавал вопросы деловые и точные — о числе душ, о недоимках, о состоянии амбаров, — и, оставшись наедине с мальчиком в кабинете покойного брата, оглядел его с тем изучающим, чуть недоумевающим выражением, с каким чиновник разглядывает документ, составленный не по установленной форме: перед ним сидел двенадцатилетний наследник немалого, хоть и небогатого имения, но говорил этот наследник не о видах на урожай и не о том, скоро ли начнётся учение верховой езде, а — будучи спрошен из вежливости о своих занятиях — принялся с не по годам пылким увлечением пересказывать содержание какого-то немецкого романа, показавшегося дяде смутно знакомым по давним, ещё университетским временам, и решительно неуместным в устах ребёнка, только что похоронившего отца.

«Стало быть, книги любишь», — сказал Верейский после долгой паузы, тоном, в котором Владимир, при всей своей неопытности в чтении взрослых интонаций, безошибочно уловил не одобрение, а нечто вроде осторожного беспокойства, — «это хорошо, коли в меру. А хозяй-

ством кто ж заниматься станет, покуда ты в возраст не войдёшь?» — и, не дожидаясь ответа, каковой у мальчика, разумеется, готов не был, сам же и ответил на собственный вопрос, объявив, что дела по имению впредь до совершеннолетия наследника будет вести он сам, наездами, а на месте — доверенный человек, которого он подберёт в ближайшее время, поскольку старосте Кузьме, при всей его многолетней исправности, доверять единолично столь значительные суммы оброка не по чину.

Слова эти, сказанные, в сущности, из самых разумных и добросовестных побуждений, впервые заронили в душу Владимира смутное, ещё не осознанное до конца чувство, которому предстояло укрепиться в последующие месяцы: что дом, ещё вчера казавшийся продолжением его собственного существа, отныне переходит в распоряжение чужой, хоть и родственной воли, а сам он, формально хозяин всего, что видит вокруг, на деле остаётся в этом хозяйстве лицом почти таким же зависимым, как и любой из дворовых людей, — с той лишь разницей, что зависимость эту принято было называть уважительным словом «опека».

Доверенный человек, которого Верецкий обещал подыскать, объявился в имении лишь к весне — некто Финогенов, из обедневших однодворцев, состоявший прежде приказчиком у другого помещика и рекомендованный опекуну кем-то из губернских знакомых, — да и то наезжал он не чаще раза в месяц, ибо вёл дела ещё в двух-трёх имениях по соседним уездам и не почитал нужным сидеть безотлучно там, где хозяин был всего лишь двенадцатилетний мальчик, не способный ни спросить, ни проверить. В промежутках же между этими наездами хозяйство фактически оставалось на попечении старосты Кузьмы — того самого, кому Верецкий из осторожности отказал в самостоятельном распоряжении оброчными суммами, но кому по необходимости пришлось доверить куда больше, чем то предполагалось при первом разговоре, поскольку кто-то ведь должен был решать на месте, когда сеять, когда пускать скотину на выпас и как быть с очередной недоимкой у Прошки-бобыля.

Кузьма, надобно сказать, службу свою правил на первых порах со всей возможной добросовестностью, памятуя двадцать с лишним лет, отданных дому Ленских, и ту особенную, почти отеческую привязанность, какую иные старые слуги питают к хозяйским детям, — но человек он был, при всей своей исправности, простой, грамоте едва разумевший, и власть, свалившаяся на него внезапно и без должного пригляда сверху, начала мало-помалу, незаметно даже для него самого, менять привычный порядок вещей. То решит он сам, без ведома барчонка, продать часть прошлогоднего запаса ржи заезжему торговцу, объяснив это после нуждой в наличных деньгах для оброка; то станет мягче взыскивать недоимки с тех дворов, что состояли с ним самим в дальнем родстве, а строже — с прочих; то позволит себе, вопреки прежнему обыкновению, лишний раз наказать розгами дворового парня за провинность, за которую при барине отделался бы одним лишь выговором, — не по злобе, а просто потому, что власть, оставшаяся без противовеса, естественным образом ищет своих пределов там, где никто не мешает ей их расширить.

Владимир, поглощённый в ту пору более собственным горем и книгами, чем хозяйственными тонкостями, замечал эти перемены лишь урывками, да и то не всегда верно их истолковывая: то удивится, отчего в амбаре к весне оказалось меньше зерна, чем помнилось ему с осени, то услышит от няньки, всегда всё знавшей раньше господ, глухой намёк на то, что «Кузьма-то нынче сам себе барин», — но, не имея ни опыта, ни права вмешаться, предпочитал не придавать этим смутным признакам значения, тем более что старый Финогенов, наезжая, ограничивался беглым просмотром счётных книг да похвалой старосте за усердие, не утруждая себя более тщательной проверкой того, что происходило в его отсутствие.

Так исподволь, безо всякого злого умысла с чьей-либо стороны, устанавливался в имении тот порядок временного безначалия, при котором формальный хозяин оставался мальчиком, погружённым в немецкие романы, действительная власть — старостой, оставшимся без при-

гляда, а высшая, законная опека — человеком, слишком занятым и слишком далёким, чтобы вникать в подробности, за которые сам же нёс перед законом ответственность.

Случай, о котором пойдёт речь, произошёл на исходе того же года и был, в сущности, самым обыкновенным делом в жизни всякой усадьбы — из тех, что решаются между старостой и приказчиком без малейшей мысли о необходимости спрашивать соизволения барина, будь тот хоть совершеннолетним хозяином, хоть малолетним наследником, — но именно потому и запомнился Владимиру так крепко, что впервые обнажил перед ним изнанку того мира, который до сих пор представлялся ему сплошь состоящим из лип, прудов и добродушных нянек.

Дворовый человек Ефрем, кучер, служивший в доме ещё при отце и учивший самого Владимира держаться в седле, был уличён Финогеновым в недостатке — то ли действительной, то ли мнимой, порождённой путаницей в счетах, которую сам приказчик и допустил, но переложить которую на собственные плечи ему не было ни малейшей охоты, — и в наказание, а частью и для покрытия недостачи, был без долгих разбирательств продан соседнему помещику, известному в уезде тяжёлой рукой, вместе с женой и малолетним сыном, притом что сделка эта, как и полагалось, была оформлена и завершена в течение одной недели, покуда Владимир, ничего не подозревая, сидел за книгами в своей комнате в другом крыле дома.

Узнал он о случившемся не от Финогенова и не от Кузьмы, сочтших за благо не тревожить барчонка подобными хозяйственными мелочами, а от той же старой няньки, обронившей в разговоре — не со зла, а по простоте душевной — что «Ефрема-то увезли, вишь, к Кутасовым, слышно, он там и жена его теперь», и, увидев на лице мальчика неподдельное потрясение, спохватилась было смягчить сказанное, но поздно: Владимир уже требовал объяснений с той настойчивостью, какой в доме от него прежде не видывали.

Объяснение, полученное от Финогенова при следующем его приезде — сухое, деловое, изложенное тем же тоном, каким излагают сведения об урожае или о ценах на пеньку, — потрясло Владимира не столько самим фактом продажи, сколько полнейшим отсутствием в этом объяснении какой бы то ни было мысли о том, что речь идёт о человеке, которого он, Владимир, знал с детства, чьи руки помнил на своих плечах, когда тот сажал его впервые на пони, и чью жену помнил хлопочущей на кухне с пирогами по праздникам, — а не о единице недостачи, которую следовало покрыть тем способом, какой окажется удобнее для баланса приказчиных книг. «Да ведь Ефрем... он же тут вырос, — проговорил Владимир, чувствуя, как голос его предательски дрожит от подступающих слёз, недостойных, как ему казалось, тринадцатилетнего мужчины, — как же можно было его вот так, не спросясь...» — на что Финогенов, не без снисходительности к молодости и книжности собеседника, ответил, что дело это самое обыкновенное, что спрашивать малолетнего барина закон не обязывает, да и не пристало бы, а что до чувств, то чувства чувствами, а хозяйство есть хозяйство и убытков не терпит.

Владимир не нашёл, что возразить, — не потому, что был убеждён доводом, а потому, что за всей его начитанностью не было ещё ни знания законов, ни опыта спора со взрослыми, — и остался при одном лишь смутном, разъедающем чувстве стыда за собственное бессилие, чувстве, которое он попытался было унять привычным способом, отыскав среди отцовских и своих книг что-нибудь, что помогло бы облечь пережитое в стройную, утешительную форму, — но обнаружил впервые в жизни, что ни немецкие романы, ни оды Державина не содержат ни единого слова о том, как быть, если человек, которого ты знал и любил, вдруг перестаёт принадлежать самому себе по прихоти чужого арифметического расчёта, а ты, номинально всему этому хозяин, не властен был этому помешать.

Случай с Ефремом не прошёл для Владимира бесследно, но и не превратил его, как могло бы случиться с натурой более деятельной, в юного обличителя крепостных порядков — свойственная ему созерцательность взяла верх и на этот раз, преобразив пережитое потрясение не в поступок, а в новую, более мрачную тему для внутренних размышлений, которым он предавался с прежним постоянством, разве что предметом их сделался отныне не только сентимен-

тальный роман, но и — впервые — то самое хозяйство, которое прежде казалось ему лишь скучным фоном для более возвышенных материй.

Он завёл привычку — робкую, неуверенную, но неизменную — расспрашивать при случае Кузьму о том, как идут дела, сколько душ числится за каждым двором, велика ли нынешняя недоимка, — расспросы эти были по большей части бесплодны, ибо Кузьма, застигнутый врасплох интересом, которого прежде не замечал в барчонке, отвечал уклончиво и общими словами, не желая ни лгать прямо, ни выдавать того, что могло бы бросить тень на его собственное правление, а Владимир, не имея ни опыта, чтобы уличить его в неполноте ответов, ни твёрдости характера, чтобы настоять на большем, довольствовался тем, что получал, испытывая при этом смутное чувство, будто исполняет некий долг перед памятью отца, хотя долг этот исполнялся им скорее для очистки совести, чем с действительной пользой для дела.

Верейский, наезжая в имение раз в несколько месяцев, с удивлением и некоторым даже одобрением отмечал перемену в племяннике — тот уже не пересказывал ему немецкие романы при первой встрече, а норовил заговорить о состоянии амбаров или о сроках оброка, — и, не подозревая истинной причины этой перемены, приписывал её собственному благотворному влиянию да естественному взрослению, которое, по его разумению, рано или поздно приводит всякого наследника к разумному попечению о своей земле; сходство это было, впрочем, обманчивым, ибо интерес Владимира к хозяйству питался не любовью к земле, которой не было у него и не появится, а тем же книжным, отвлечённым чувством справедливости, что заставляло его прежде сострадать вымышленным героям романов, — только теперь предметом сострадания сделались люди вполне реальные, живущие в двух шагах от его окон.

К тому времени, когда Владимиру исполнилось четырнадцать, разговоры между Верейским и Прасковьей Лариной, которая по-прежнему бывала частой гостьей в доме, всё чаще стали касаться его дальнейшего образования — того самого вопроса, что при жизни отца откладывался без определённого решения, а теперь, с одобрения опекуна, склонявшегося к мнению, что мальчику полезно будет провести несколько лет вдали от имения, где он "слишком много предаётся мечтательности без должного присмотра", получил наконец ясные очертания: речь шла о том, чтобы отправить его для завершения образования в один из германских университетов, как поступали в ту пору многие дворянские семьи, желавшие дать сыновьям лоск, недостижимый в стенах уездного училища.

Владимир, узнав об этом решении из случайно услышанного за дверью разговора — ибо спрашивать его мнения прямо никому в голову не пришло, — испытал чувство, странно смешавшее в себе испуг перед разлукой с домом, единственно знакомым ему миром, и то тайное, стыдливо скрываемое даже от самого себя воодушевление, которое испытывает всякий книжный мальчик при мысли, что жизнь его наконец начинает походить на жизнь героев прочитанных им романов, — воодушевление, которому предстояло очень скоро, уже на пороге отъезда, получить неожиданное подтверждение в лице человека, чьё имя войдёт в его судьбу прочнее, чем имена всех вымышленных героев, вместе взятых, — но об этом человеке, Евгении Онегине, речь пойдёт уже в следующей главе.



Глава 3. Юность

Прощание с Ольгой состоялось накануне отъезда, в липовой аллее, той самой, где когда-то шестилетний Владимир водил трёхлетнюю соседку смотреть на муравейник, — обстоятельство, которое сам он в ту минуту счёл знаком судьбы, исполненным глубокого значения, хотя простиралось оно не долее того, что аллея в имении была одна и гулять в ней было попросту больше нигде. Ольге шёл тогда двенадцатый год, и прощание её, вопреки всем ожиданиям Владимира, вышло скорее по-детски безмятежным, чем печальным: она всплакнула немного, более из подражания взрослым, полагающим слёзы уместными при расставаниях, чем от подлинной тяжести на сердце, и уже через четверть часа вполне утешилась обещанием писем и рассказывала о новом щенке, полученном от соседей, с той же живостью, с какой минуту назад говорила о разлуке.

Владимир же, отходя от неё в тот вечер с полученным на память платком, вышитым её собственной неумелой ещё рукой, унёс с собою чувство, которое сам, по молодости лет, принял за глубочайшую сердечную рану, а на деле было по большей части литературным ожиданием такой раны, заранее приготовленным чтением романов, где всякий отъезд героя непременно сопровождается разлукой с возлюбленной, исполненной трагического величия; и то обстоятельство, что предмет его любви только что весело щебетал о щенке, нимало не поколебало в нём уверенности, что расстанется он с существом, чья душа связана с его собственной узами, которым нет и не может быть равных, — уверенности, которой предстояло в ближайшие годы, вдали от простодушного оригинала, разрастись до размеров, самым оригиналом решительно не заслуженных.

Дорога же, начавшаяся на другое утро, поразила его не менее сильно, хотя и совершенно иначе: версия России, которую он видел прежде, ограничивалась околицей родного уезда да, в лучшем случае, губернским городом, куда возили его однажды к тётке, — Европа же, открывавшаяся ему теперь верста за верстой из окна дорожной кареты, казалась воплощением того самого, вычитанного из книг мира, который он прежде считал существующим лишь на бумаге. Прусские города с их мощёными улицами и опрятными, будто нарисованными фасадами, придорожные трактиры, где подавали незнакомые прежде кушанья и где хозяева говорили на языке, который он уже понимал, хоть и с усилием, благодаря нескольким годам ученических занятий, — всё это внушало ему то восторженное преклонение перед европейским порядком и просвещением, какое было в те годы почти обязательной чертой всякого молодого русского дворянина, отправлявшегося за границу впервые: чувство, в котором смешивались и подлинное восхищение чужой культурой, и то унижительное, хоть и редко осознаваемое до конца сравнение с оставленным позади отечеством, где дороги были хуже, дома беднее, а просвещения — куда меньше.

К тому времени, когда карета миновала последнюю на пути границу и въехала наконец в пределы германских земель, Владимир уже успел мысленно сочинить о своём прощании с Ольгой добрую дюжину элегических строф, ни одна из которых не была ещё записана на бумаге, но все вместе они уже сложились в его сознании в некий связный, почти законченный сюжет о верности, разлуке и грядущем счастливом воссоединении двух сердец, — сюжет, в котором действительная Ольга, щебетавшая о щенке, участвовала не более, чем участвует живая натурщица в портрете, давно уже написанном художником по собственному воображению.

Гёттинген встретил его узкими, мощёными улицами, тесно обступившими старую ратушу, звоном колоколов, отбивавших часы с педантичной, почти назойливой немецкой точностью, и тем особым духом университетского городка, где, казалось, самый воздух был пропитан книжной пылью и глубокомыслием, — духом, который Владимир, ещё не проведя в

городе и суток, уже успел полюбить безоговорочно, найдя в нём подтверждение всему, что прежде читал о немецкой учёности в переводных сочинениях. Устроен он был на квартиру, по рекомендации соотечественника, некогда учившегося здесь же, к вдове бюргера по фамилии Штрumpf — женщине дородной, немногословной и одержимой той чистотой, что доходит до священнодействия: полы в её доме натирались до блеска еженедельно, а всякий беспорядок в комнате постояльца воспринимался ею как личное оскорбление, нанесённое самому миру-зданию.

Первые дни прошли в устройстве быта и в том особом, знакомом всякому путешественнику смятении, когда восторг перед новизною места ежечасно перемежается острыми, внезапными приступами тоски по оставленному дому, — тоски, которая настигала Владимира чаще всего по вечерам, когда фрау Штрumpf, зажигая для постояльца свечу, желала ему покойной ночи на своём отрывистом, гортанном наречии, а он, отвечая ей заученной немецкой фразой, вдруг с необыкновенной остротой вспоминал русскую няньку, желавшую ему на ночь совсем иных, куда более тёплых слов, — и тогда одиночество чужестранца, до сих пор скрадываемое дневной суетой, обрушивалось на него в полную силу, вынуждая искать спасения либо в перечитывании привезённых с собою русских книг, либо в сочинении писем к Ольге, растягиваемых нарочно на много страниц, чтобы продлить иллюзию беседы с домом.

Университет же, куда он явился представиться уже на третий день по приезде, поразил его величием, вполне соразмерным его ожиданиям: старые, потемневшие от времени здания, библиотека, в которой, как уверяли, собрано было больше томов, чем во всей его родной губернии, профессора, чьи имена были известны и в России понаслышке, — всё это внушало Владимиру чувство, близкое к благоговению, и укрепляло в нём то распространённое среди образованных русских дворян той поры убеждение, что подлинное просвещение, подлинная свобода мысли обитают именно здесь, на этой древней, тесно застроенной университетскими зданиями земле, тогда как отечество его, при всей сердечной к нему привязанности, представлялось ему теперь, из этого прекрасного далёка, странною, ещё дремлющей в младенчестве разума.

Знакомство с товарищами по учению завязалось не сразу — русских студентов в Гёттингене в ту пору было наперечёт, и с соотечественниками Владимир сходилась поначалу охотнее, чем с немцами, находя в общем языке и общих воспоминаниях о родине утешение от накатывавшей временами тоски; но уже к исходу первого месяца один из старших русских студентов, готовившийся к отъезду и потому спешивший передать младшему смену свои связи и знакомства, представил его небольшому кружку немецких сверстников, у которых, как выяснилось довольно скоро, была заведена традиция собираться по вечерам не столько для учёных бесед, сколько для куда более пьянящего занятия — разговоров о свободе, о судьбах Германии и о том особом, овеванном недавней легендой братстве, к которому Владимиру предстояло вскоре приобщиться.

Лекции, на которые Владимир начал являться с тем усердием, какое отличает всякого новичка, ещё не заскучавшего от процедуры учения, читались профессором Гейзе — почтенным философом, чья слава давно перевалила за пределы Геттингена, хотя сам он, маленький, сутулый человек с неизменно рассеянным взглядом, менее всего походил на властителя умов, каким его почитала университетская молодёжь. Курс его был посвящён критической философии Канта, и Владимир, впервые столкнувшись с этим строем мысли, испытал потрясение, сходное, быть может, с тем, какое испытывает человек, всю жизнь смотревший на мир простым глазом, а тут внезапно получивший подзорную трубу: мысль о том, что сам разум человеческий устанавливает формы, в которых является ему действительность, — что пространство и время суть не свойства вещей самих по себе, а способ, которым наш ум неизбежно их воспринимает, — казалась ему откровением почти религиозного порядка, разом объяснявшим и оправдывавшим ту склонность к мечтательности, за которую его столько лет журили дома как за пустую блажь.

Если Кант давал ему строгий, почти математический остов для оправдания собственной душевной жизни, то другой курс — по натурфилософии Шеллинга, который читал молодой ещё, но уже пользовавшийся известностью приват-доцент Ленц, — увлёк его куда более непосредственно и горячо: мысль о том, что природа есть не мёртвая механика, а живой, одушевлённый организм, находящийся в вечном становлении, что дух и материя суть лишь два полюса единого, всепроникающего мирового начала, отвечала в нём чему-то, что прежде выражалось лишь смутным, безотчётным восторгом перед видом закатного неба над отцовским прудом, а теперь получило имя, систему и авторитет учёного слова.

Вечерами, возвращаясь от Штрumpf домой мимо освещённых редкими фонарями улиц, Владимир нередко останавливался посреди дороги, поражённый внезапно пришедшей на ум мыслью — что вот эта самая улица, эти дома, эта луна над готической крышей ратуши суть не более чем явления, конструируемые его собственным сознанием согласно априорным формам созерцания, — мысль, которая иного, более трезвого юношу привела бы разве что к лёгкому головокружению, а Владимира наполняла тем особым, сладостным чувством собственной причастности к великой тайне мироздания, какое доступно, как ему казалось, лишь немногим избранным умам.

Постепенно, впрочем, увлечение это начало сказываться и на самом складе его мышления способом менее возвышенным, чем то виделось ему самому: приученный лекциями Гейзе и Ленца рассматривать всякое явление прежде всего в свете отвлечённых категорий и всеобщих начал, Владимир исподволь утрачивал ту немногую практическую сметку, какую успел приобрести в отрочестве, беседуя с Кузьмой о видах на урожай, — так что позднее, уже вернувшись в Россию, он будет с одинаковой лёгкостью рассуждать о судьбах человечества и с одинаковым же затруднением — о том, сколько четвертей ржи следует оставить на семена, а сколько продать, поскольку первое казалось ему теперь предметом, достойным ума, а второе — низменной прозой, на которую и внимания-то обращать не стоило.

В буршеншафт Владимира ввёл тот самый кружок немецких сверстников, с которым он свёл знакомство в первые недели, — не через торжественную церемонию, как воображал он себе прежде по смутным рассказам, а буднично, за кружкой пива в подвальчике неподалёку от рыночной площади, где старший из товарищей, некто Фридрих фон Гарденберг (однофамилец покойного поэта, чем немало гордившийся, хотя родства между ними не было ни малейшего), после третьей кружки вдруг предложил новичку вступить в их братство с той же лёгкостью, с какой предложил бы разделить трапезу, — и Владимир, польщённый этим доверием сильнее, чем то, вероятно, заслуживало столь непринуждённо сделанное предложение, согласился без раздумий.

Устав братства, торжественно зачитанный ему на другой день в присутствии всего кружка, предписывал строгий кодекс чести — взаимную верность, готовность встать на защиту товарища словом и делом, презрение к малодушию во всех его видах, — но подлинным сердцем этого кодекса, как вскоре обнаружил Владимир, была не отвлечённая доблесть, а вполне ощутимая, требующая крови практика мензуры: ритуальных поединков на тяжёлых прямых клинках — шлегерах, — которые студенты, облачённые в защитные нагрудники, но оставлявшие лицо совершенно открытым, вели друг против друга не из вражды, а именно ради того, чтобы претерпеть и вынести боль, доказав тем самым право называться человеком чести, — и шрам, полученный на такой мензуре, ценился в этом кругу не менее высоко, чем боевая рана ценилась бы в кругу военном, будучи знаком, читаемым всяким посвящённым с первого взгляда: вот человек, испытавший себя и не дрогнувший.

Первую свою мензuru Владимир выдержал спустя месяц после вступления в братство — противником его был студент-баварец, с которым он не имел ни малейшей личной ссоры, что нимало не умаляло серьёзности самого поединка, — и, получив неглубокий, но кровотоочивый порез над левой бровью, испытал в момент удара не столько боль, сколько странное, почти

опьяняющее чувство свершившегося обряда посвящения, чувство, которое он в тот же вечер попытался излить на бумагу в письме к Ольге, впрочем, тут же зачеркнув написанное, сообразив, что подобные подробности вряд ли будут поняты ею так, как понимал их он сам.

Именно здесь, в холодном полумраке фехтовальной залы, среди звона стали и хрипловатых, приглушённых защитными масками возгласов товарищей, в душе Владимира закладывалось то представление о поединке как о священном, очистительном ритуале чести, которое годы спустя, в совершенно иных обстоятельствах и с совершенно иным, куда более трагическим исходом, поднимет его руку против Онегина: ибо для немецкого бурша дуэль была делом обыденным, почти спортивным упражнением в мужестве, лишённым непременно смертельного смысла, — но юный романтик, впитавший форму этого ритуала прежде, чем успел усвоить его меру, унесёт с собою на родину лишь самую суть обряда — представление о том, что честь, единожды задетая, требует немедленного и бескомпромиссного удовлетворения кровью, — забыв или, вернее, так и не узнав, что даже сами немцы, столь ревностно чтившие этот обычай в стенах университета, давно научились отличать ритуальную мензурку от поединка не на жизнь, а на смерть.

О Вартбургском празднестве Владимир впервые услышал от того же Фридриха фон Гарденберга, который, хотя сам и не участвовал в нём по молодости лет (событие произошло двумя годами прежде, в октябре семнадцатого года), говорил о нём с таким жаром очевидца, словно стоял в тот вечер среди прочих студентов на старом замковом холме над Эйзенахом, у костра, в который летели одна за другой книги, признанные братством символами реакции и национального унижения, — сочинения полицейского права, верноподданнические памфлеты, а вместе с ними, по слухам, и кое-что из французского кодекса Наполеона, всё ещё действовавшего в иных немецких землях как горькое напоминание о недавнем чужеземном владычестве.

Праздник этот, приуроченный к трёхсотлетию Реформации и к четвёртой годовщине победы над Наполеоном при Лейпциге, был задуман старшими буршами как манифестация той самой единой, свободной Германии, о которой мечтала целая генерация студентов, — Германии, не расчленённой на десятки мелких княжеств с их мелочными дворами и произвольными законами, а спаянной единым духом, единым языком, единой волей народа к самоопределению, — и весть об этом торжестве, докатившаяся в своё время до всех германских университетов, включая и Гёттинген, сделала само слово «Вартбург» чем-то вроде пароля, объединявшего студенческую молодёжь поверх границ отдельных земель.

Владимир слушал эти рассказы с тем особым волнением, с каким слушает всякий новообращённый предания, случившиеся незадолго до его собственного прихода в веру, — и, не имея возможности разделить самого события, тем ревностнее усваивал его дух, находя в идее народной свободы и единства нечто удивительно созвучное собственным, ещё смутным понятиям о вольности, вынесенным из чтения Шиллера задолго до отъезда из России. «Вольнолюбивые мечты», которыми он, по возвращении домой, станет с горячностью делиться с Онегиным, встречая с его стороны лишь холодноватую, снисходительную усмешку скептика, родились именно здесь, в этих вечерних беседах за кружкой пива, где отвлечённая, ещё не пережитая политическая идея сплеталась в его сознании с юношеским восторгом перед самим духом братства и товарищества.

При этом самая природа этих мечтаний оставалась у Владимира глубоко умозрительной, лишённой сколько-нибудь ясного понимания того, как соотносится идея немецкого единства с российской действительностью, откуда он был родом, — мысль о том, что вольнолюбие, применённое к отечественным порядкам, означало бы, помимо прочего, вопрос о судьбе двухсот душ, доставшихся ему по наследству от отца, ни разу не приходила ему в голову рядом с восторженными рассуждениями о свободе народов вообще, — так что вольномыслие его, при всей искренности, оставалось до времени тем особым родом умственной роскоши, которую моло-

дой русский дворянин мог себе позволить в чужой стране, вовсе не будучи обязан применять её к устройству собственной, оставленной за тридевять земель усадьбы.

Из всего кружка мензурных братьев ближе прочих сошёлся Владимир с неким Августом Ленау — не с тем прославленным впоследствии поэтом, носившим схожее имя, а с младшим его тёзкой и однофамильцем, студентом теологического факультета, который, впрочем, богословием интересовался куда меньше, чем поэзией, и в котором Владимир нашёл наконец родственную душу, столь недостававшую ему среди практических, хоть и по-своему сердечных, немецких буршей, поглощённых больше пивом и фехтованием, чем метафизикой чувства. С Августом он мог просиживать до глубокой ночи, не замечая ни времени, ни остывшего давно чая, споря о том, что есть истинная поэзия — подражание природе или, напротив, прорыв за её пределы к миру идеальному, — и в этих спорах Владимир, ещё недавно слушавший подобные рассуждения с почтительным ученическим вниманием, начал понемногу пробовать собственный голос, сперва робко, соглашаясь или возражая, а там и вовсе решаясь читать вслух свои первые, ещё нескладные строфы.

Стихи эти — по большей части подражательные, полные прямых заимствований из Шиллера и Новалиса, чьё имя носил однофамилец его друга, — были, говоря по совести, слабы поэтическим искусством, но искренни тем особым родом искренности, что свойственна юности прежде, чем она научится стыдиться собственных чувств: в них Владимир воспевал луну над готическими шпилями, тоску изгнанника вдали от родного крова, а всего чаще и охотнее — образ некой далёкой, идеальной возлюбленной, чьё имя он благоразумно не называл прямо, но чьи черты — русые волосы, кроткий взор — не оставляли сомнений в том, кого именно он разумел под этими романтическими покровами.

Ольга же, реальная, оставшаяся за тридевять земель, отвечала на его всё более пространственные и всё более поэтические письма записками короткими, простодушными, полными милых, но решительно не литературных подробностей — о новом платье, о том, что матушка бранила её за испорченный урок музыки, о том, как соскучилась она по нём, но соскучилась ровно той же лёгкой, беспечальной тоской, какой скучают дети по любимой, но временно недоступной забаве, — и Владимир, читая эти письма, не замечал очевидного всякому постороннему глазу несоответствия между простотой её слога и той высотой чувства, какую он сам вкладывал в собственные ответы: несоответствие это он объяснял себе не тем, чем следовало бы, — разницей возраста, воспитания, склада ума, — а трогательной, по его разумению, скромностью истинно глубокой натуры, не умеющей или не желающей облекать свою любовь в громкие слова, тогда как истинная сила чувства, думалось ему, всегда таится под покровом самой обыденной простоты.

Так, вдали от предмета своей привязанности, при деятельном участии Шиллера, Новалиса и собственного разгорячённого воображения, детская дружба с соседской девочкой преобразилась в сознании Владимира в нечто неизмеримо более значительное — в ту единственную, предначертанную судьбою любовь, что связывает две родственные души поверх всех превратностей пространства и времени, — иллюзию, питаемую не столько действительными качествами Ольги, сколько внутренней потребностью самого Владимира иметь в жизни предмет, достойный того возвышенного чувства, которое он в себе так усердно культивировал, — потребностью, которая, найди она перед собою натуру менее податливую сентиментальному обожанию либо просто более капризную, обошлась бы ему, вероятно, дешевле, чем обошлась в действительности.

Случай испытать эту вновь обретенную верность подвернулся Владимиру довольно скоро — на одном из тех редких светских вечеров, куда допускались и студенты, если являлись по рекомендации профессора, он был представлен племяннице фрау Штрумпф, некой Луизе, девице живой, миловидной и достаточно избалованной всеобщим вниманием, чтобы находить особое удовольствие в завоевании сердец робких и мечтательных иностранцев, каковым Вла-

дмир, вне всякого сомнения, ей и представился. Луиза не жалела ни улыбок, ни многозначительных взглядов, ни приглашений на прогулку вдоль городского вала, и Владимир, при всей своей поэтической отрешённости, был не настолько бесплотен, чтобы не заметить и не почувствовать всей лестности подобного внимания, — но всякий раз, когда сердце его начинало биться чаще обычного в присутствии этой весёлой немки, на помощь ему приходил образ той единственной, предначертанной, которую он сам же себе сотворил из скромной русской девочки, — образ, отныне достаточно прочный и достаточно возвышенный, чтобы служить надёжным щитом против всякого мимолётного искушения, — так что Луиза, промучившись понапрасну месяц-другой, оставила наконец свои попытки, найдя себе поклонника не в пример более сговорчивого, а Владимир вынес из этого маленького испытания не столько сожаление об упущенном, сколько горделивое, глубоко удовлетворяющее его самолюбие чувство собственной верности, — верности, которую он теперь полагал доказанной перед лицом самого искушения, не подозревая, сколь малого стоило это доказательство перед лицом той действительности, что ожидала его по возвращении домой.

Переписка между Гёттингеном и родовым именем шла своим чередом на протяжении всех лет учения, но если в начале письма обеих сторон были соразмерны друг другу — Владимир писал о городе и учении, Ольга отвечала о доме и погоде, — то с каждым новым годом эта соразмерность нарушалась всё заметнее, покуда не превратилась в тот разительный контраст, что явствовал уже из одного взгляда на почерк и слог того и другого послания, лежавших рядом на столе фрау Штрumpf, куда исправно доставлялась вся корреспонденция постояльца.

Одно из писем Владимира, сохранившееся впоследствии среди его бумаг и достаточно характерное, чтобы привести его почти целиком, начиналось так: «Здесь, среди холодных туманов Севера, где самое солнце, кажется, светит не для радости, а лишь для того, чтобы обозначить границу между днём и ночью, душа моя обращается к Тебе, как обращается странник к единственной звезде, не угасающей за все годы его скитаний. Знаешь ли Ты, милый друг, что нет часа, свободного от учёных занятий, в который образ Твой не восставал бы предо мною с прежней, неослабевающей силой?..» — и так далее, на четырёх убористо исписанных страницах, изобиловавших туманами, звёздами, странниками и прочим арсеналом образов, заимствованных из недавно прочитанных немецких элегий и приложенных к предмету, который сам по себе едва ли нуждался в столь пышном облачении.

Ответ же, пришедший спустя положенные недели, гласил, за вычетом обычных приветствий и пожеланий здоровья, следующее: «А у нас, Володенька, зима нынче лютая стоит, пруд промёрз до самого дна, говорят, рыба вся уснула. Маменька велела кланяться. Танюша Ларина (кузина, гостившая у них тем летом) уехала, скучно без неё стало. Пиши, не забывай нас», — письмо, по объёму равное едва ли четверти его собственного, но по содержанию не уступавшее в искренности ни на йоту, разве что искренность эта была обращена не к возвышенным материям сердца, а к вещам вполне земным — к погоде, к скуке, к отсутствию любимой кузины.

Владимир перечитывал эти скудные строки по многу раз, ища в них — и, по обыкновению своему, находя — скрытые глубины, которых сам автор письма туда вовсе не закладывал: краткость казалась ему сдержанностью чувства, слишком сильного, чтобы выразить себя многословно, а упоминание о скуке без Танюши он истолковывал как завуалированное признание в тоске по нему самому, тоске, которую благовоспитанная девица, разумеется, не решилась бы выразить прямо. Так каждое новое письмо Ольги, при всей своей неизменной простоте, служило Владимиру не поводом усомниться в верности собственного возвышенного представления о их взаимной любви, а, напротив, новым материалом для его подтверждения — методом, знакомым, впрочем, не одному только Владимиру: способностью влюблённого сердца читать в скудном тексте ровно то, что оно желает в нём прочесть, невзирая на то, что там написано в действительности.

Сам же он, не замечая за собой этой особенности, тем временем всё более укреплялся в чувстве, которое можно было бы назвать двойным очарованием изгнанника: с одной стороны, разгоралась в нём — по мере приближения срока возвращения — самая настоящая, неподдельная тоска по русской зиме, по русской речи, по тем нянькиным сказкам и тем скрипучим саням, которых так недоставало ему среди опрятной, размеренной жизни немецкого городка; с другой же — тоска эта нимало не колебала того глубокого, почти благоговейного восхищения перед европейским просвещением, которое он вынес из четырёх лет учения и которое отныне навсегда сделало его человеком двух родин: одной — данной по рождению и крови, милой сердцу той же безотчётной любовью, какой любят мать, невзирая на её недостатки, и другой — избранной разумом и вкусом, к которой он отныне будет обращать взор всякий раз, когда отечественная действительность станет казаться ему тесной для его выросших в Германии понятий.

Письмо от Верейского, пришедшее весной того года, когда Владимиру исполнилось восемнадцать, было выдержано в его обычной сухой, деловой манере, но содержание его не оставляло места для кривотолков: обучение в университете надлежало почитать оконченным — не потому, чтобы курс наук был полностью пройден по всем правилам немецкой учёности, а потому, что средства, отпускавшиеся из доходов имения на содержание молодого барина за границей, истощились скорее, чем предполагалось при заключении этого предприятия, отчасти из-за неурожайного года, отчасти же, как деликатно давал понять опекун, из-за того, что «доверенный человек Финогенов оказался не столь исправен в делах, сколь то представлялось прежде», — формулировка, за которой Владимир, уже несколько поднаторевший в чтении между строк благодаря многолетним упражнениям над письмами Ольги, безошибочно угадал историю не то растраты, не то попросту нерадивого хозяйствования, подробности которой ему предстояло узнать уже по возвращении. К тому же, писал далее Верейский, годы шли, а с ними приближался и срок, назначенный молвою, хоть и не бумагой, для свадьбы с Ольгой Лариной, — обстоятельство, которое сам опекун почитал достаточным поводом для того, чтобы молодой человек воротился наконец к своим прямым обязанностям, вместо того чтобы «продолжать по чужим землям витать в облаках германской премудрости».

Весть эта застала Владимира в состоянии духа сложном и раздвоенном, как то нередко бывает при завершении всякого значительного отрезка жизни: с одной стороны, что-то в нём — и, надо сказать, немалая часть его существа — искренне возликовало при мысли о скором возвращении домой, к Ольге, к отцовским липам, к тому образу простой и сердечной русской жизни, по которому он тосковал все эти годы тем острее, чем далее пролетала эта тоска в его собственном воображении от действительной, прозаической правды деревенского быта; с другой же — мысль о разлуке с Гёттингеном, с обретённым здесь братством, с Августом, с самим воздухом умственной свободы, которым он привык дышать все эти годы, отзывалась в нём подлинной, ничем не преувеличенной печалью, ибо здесь, и только здесь, он впервые почувствовал себя не мальчиком, обязанным своим положением случайности рождения, а человеком, обретшим собственный, самостоятельно выбранный круг единомышленников.

Прощание с братством было отмечено, как то предписывал обычай, торжественным собранием в знакомом подвальчике, где кружки поднимались за отбывающего товарища едва ли не до рассвета, а Фридрих фон Гарденберг, растроганный то ли моментом, то ли выпитым пивом сверх обычной меры, обнял Владимира на прощание с той грубоватой немецкой сердечностью, за которой скрывалось чувство куда более глубокое, чем позволяли выразить простые слова, и подарил ему на память свой собственный студенческий шлегер — жест, значение которого Владимир понял в полной мере лишь много позже, в совершенно иных обстоятельствах, когда клинок этот, привезённый в Россию как памятная безделица, дальнему хозяину которой предстояло однажды пожалеть, что в его руках при роковой встрече не оказалось

ино, менее возвышенного и куда более уместного орудия примирения, чем то представление о чести, которое этот клинок символизировал.

Дорога домой, в отличие от дороги туда, показалась Владимиру короче — не оттого, что версты стали меньше, а оттого, что человек, ехавший теперь этим путём в обратном направлении, был уже не тем испуганным и восторженным пятнадцатилетним мальчиком, что четыре года назад впервые пересёк германскую границу, а молодым человеком, увозившим в своём сердце и в своём багаже целый Гёттинген — с его Кантом и Шеллингом, с его мензурами и вольнолюбивыми мечтаниями, с его туманным идеализмом, решительно неприспособленным, как покажет уже самое ближайшее будущее, к суровой прозе российской действительности, ожидавшей его дома.



Глава 4. Евгений Онегин

Имение открылось Владимиру из окна дорожной кареты той же липовой аллеей, что и четыре года назад, — но аллея, показавшаяся ему в детстве бескрайней, тенистой чащей, обернулась теперь скромным рядом деревьев, который карета миновала в считанные минуты, и это первое, чисто оптическое разочарование — как всё, оказывается, меньше, чем помнилось, — стало лишь первым из целой череды подобных открытий, ожидавших его в последующие дни.

Дом, к которому он подъехал с бьющимся от волнения сердцем, выглядел заметно обветшавшим: тёс на крыше местами прогнил и покособился, крыльцо просело на один угол, а некогда исправно белённые стены облупились пятнами, придававшими фасаду сходство скорее с лицом, тронутым застарелой болезнью, чем с обликом того сияющего в его памяти родового гнезда, которое он рисовал себе долгими вечерами в Гёттингене. Владимир, выходя из кареты, поймал себя на том, что первым его чувством было не радость, а нечто вроде мгновенного, тут же устыжённого им самим неудовольствия — чувство, которое он поспешил заглушить напоминанием себе, что судить о доме следует не по краске на стенах, а по теплоте сердец, в нём обитающих.

Верейский, вышедший встречать племянника на крыльцо, встретил его объятием куда более сердечным, чем то, какого Владимир мог ожидать по воспоминаниям об их прежней настороженности, — объятием, в котором, впрочем, при ближайшем рассмотрении угадывалось не столько родственное чувство, сколько облегчение человека, слагающего с плеч обузу, тяготившую его четыре долгих года: «Ну, вот и хозяин приехал, — сказал он, отступая на шаг и оглядывая племянника с головы до ног тем же изучающим взглядом, что и при первой их встрече, только теперь в этом взгляде читалось не недоумение, а нечто похожее на осторожное удовлетворение, — возмужал, возмужал. Пора, пора самому за дело браться, я уж заждался сдать тебе ключи со спокойной совестью».

За ужином в тот же вечер, за столом, накрытым с той нарочитой торжественностью, какую усадьбы берегают для редких, важных случаев, Верейский, воздавая должное дорожной усталости племянника краткими расспросами о Германии, довольно скоро — быстрее, чем того требовала простая учтивость, — перевёл разговор на дела хозяйственные: упомянул вскользь о неурожае позапрошлого года, о некоторой путанице в счётных книгах, оставшейся после того, как пришлось расстаться с услугами Финогенова («человек оказался не по чину ловок», — заметил он с той же сухой уклончивостью, что и в письме), о недоимках, накопившихся за последние два года хуже прежнего, — и Владимир, слушая эти известия, ощущал, как первоначальная радость возвращения понемногу вытесняется в нём тревожным, ещё смутным предчувствием того, что дом, в который он вернулся хозяином, встречает своего хозяина отнюдь не тем цветущим порядком, о каком он имел неосторожность мечтать все эти годы, а изрядно запущенным хозяйством, ожидающим от него не элегий, но действия — области, в которой Гёттинген, при всей своей учёности, готовил его до обидного мало.

Спать в ту ночь Владимир лёг в своей прежней комнате, показавшейся ему теснее, чем помнилось, но не утратившей того особого, узнаваемого до слёз запаха родного дома — смеси воска, старого дерева и чего-то ещё, чему нет названия и что помнят одни лишь дети, — и, лёжа в темноте, слушая непривычную после четырёх лет отсутствия тишину русской деревенской ночи, он с новой, уже не книжной, а вполне реальной остротой ощутил, что человек, вернувшийся сегодня в этот дом, при всём желании не может более быть тем самым мальчиком, что покинул его четыре года назад, — а дом, в свой черёд, столь же неумолимо оказался не тем домом, каким он его оставил, и вопрос, который тревожил его засыпающее сознание сильнее всех прочих, состоял не в том, узнают ли они друг друга вновь, а в том, сумеют ли ужиться те двое, в кого превратились за эти годы и он сам, и его наследство.

Свидание это, которого Владимир ждал все четыре года с таким постоянством, что успел мысленно прожить его в добром десятке вариантов — то у околицы, то в саду, то у крыльца Лариных, — состоялось на второй день по приезде и вышло, вопреки всем этим заранее заготовленным сценариям, куда проще и обыденнее, чем он себе представлял: Прасковья Ларина, узнав о возвращении соседа, сама заехала с дочерью в тот же день, не дожидаясь, покуда молодой человек соберётся с духом нанести визит по всем правилам, — и Владимир, ещё не оправившийся толком от дорожной усталости, выбежал встречать гостей на крыльцо в том состоянии душевного волнения, что мешает и говорить, и вовсе связно мыслить.

Ольга, выпорхнувшая из коляски, оказалась уже не той тонконогой девочкой-подростком, какую он оставил четыре года назад, а настоящей барышней шестнадцати лет — стройной, миловидной, с той свежестью юного румянца, что сама по себе способна вскружить голову скорее самой красоты, — и первое впечатление Владимира, прежде чем в дело успел вмешаться его неутомимый идеализирующий рассудок, было впечатлением чистого, ничем не замутнённого восхищения перед этой расцветшей юностью; но не успел он взглянуться в неё более минуты, как в разговоре, завязавшемся тут же, на крыльце, среди объятий и восклицаний, обнаружилось, что содержание её речи осталось столь же простодушным, каким было в тех детских записочках, что он получал в Гёттингене: она щебетала о том, как выросла за эти годы, ахала над его возмужалостью и заграничным лоском, спрашивала, привёз ли он ей что-нибудь из Германии, и, получив в подарок отрез тонкого немецкого кружева, обрадовалась ему с искренностью, не уступавшей, пожалуй, той, с какой обрадовалась бы новому платью, — искренностью подлинной, но никак не той возвышенной, исполненной затаённого многолетнего чувства радостью, какую рисовало Владимиру воображение все эти годы.

Владимир же, стоя перед этим живым, дышащим, вполне земным существом взамен того идеального образа, который сопровождал его сквозь все германские зимы, испытал в первую минуту нечто вроде лёгкого, тут же подавленного разочарования — ощущение, будто явь оказалась чуть менее прекрасна, чем предвкушение, — но чувство это, едва успев зародиться, было немедленно им же самым осуждено и изгнано как недостойное, кощунственное сомнение в предмете столь долго лелеемой любви: «Она не изменилась душой, — сказал он себе почти теми же словами, какими прежде толковал её краткие письма, — просто скромность её натуры, не тронутой светской фальшью, не позволяет ей и здесь, при встрече, облечь глубокое чувство в громкие слова, — тем ценнее эта простота, тем подлиннее это чувство под её непритязательным покровом», — и, единожды приняв это объяснение, он тут же ощутил прежний, ничем более не омрачённый прилив нежности, глядя на неё уже не разочарованным, а вновь всецело очарованным взглядом, в котором сама Ольга, дивившаяся лишь тому, отчего Володенька так пристально и так подолгу на неё смотрит, не могла прочесть ровным счётом ничего из того, что в действительности за этим взглядом скрывалось.

К концу визита, когда гости уже садились в коляску, Прасковья Ларина, отведя Владимира в сторону с тем видом заговорщицкой доверительности, какой приберегают для дел, давно решённых и оттого не требующих долгих объяснений, заметила вскользь, что коли молодой хозяин обжился уже дома, не худо бы, дав ему месяц-другой на устройство дел, подумать и о свадьбе — слова эти, произнесённые буднично, между прочим, отозвались в душе Владимира не тревогой, а тем сладостным, торжественным волнением, с каким человек воспринимает наконец наступление давно предрешённого и оттого лишь тем более желанного часа, — так что весь остаток дня он провёл, сочиняя в уме будущую семейную жизнь с той же литературной обстоятельностью, с какой прежде сочинял элегии, ни разу не задавшись вопросом, найдётся ли в этой картине место для той самой гёттингенской премудрости, что составляла теперь добрую половину его существа, а для Ольги оставалась и навсегда останется книгой за семью печатями.

Проверку счётных книг Владимир отложил на несколько дней после приезда, покуда не улеглось первое волнение встреч и застольных приветствий, но, приступив к ней наконец в одно дождливое утро, заперевшись в отцовском — теперь уже своём — кабинете с грудой пыльных тетрадей и амбарных записей, обнаружил перед собою хаос куда более основательный, чем то допускали осторожные намёки Верейского за ужином: цифры не сходились с года на год, статьи расходов были помечены неразборчиво или вовсе без пояснений, а недоимка по оброку, накопившаяся за последние два-три года, оказалась при пересчёте вдвое больше той суммы, что называл ему опекун при первом разговоре.

Позвав к себе Кузьму, заметно постаревшего за эти годы, но сохранившего прежнюю неторопливую, себе на уме, манеру держаться, Владимир повёл разговор в том тоне строгой, разумной справедливости, какому научили его гёттингенские лекции о естественном праве и общественном договоре, — рассуждая о том, что порядок в хозяйстве должен покоиться на ясном, всем понятном законе, а не на произволе и не на милости, что крестьянин, зная заранее и твёрдо меру своего оброка, трудится охотнее того, кто содержится в вечной неизвестности относительно завтрашних поборов, — рассуждения, которые сам Владимир почитал образцом просвещённого управления, а Кузьма выслушивал с тем непроницаемым, почтительным выражением лица, за которым скрывалось, впрочем, не согласие и не несогласие, а лишь привычное терпение старого слуги, наслушавшегося на своём веку от господ немало всякой учёности, ничуть не менявшей, как показывал опыт, заведённого порядка вещей.

«Оно, конечно, так, батюшка Владимир Дмитриевич, — отвечал Кузьма на очередное рассуждение молодого барина о необходимости составить точную, раз навсегда установленную роспись повинностей для каждого двора, — да ведь как есть двory победнее, есть побогаче, у иного семья большая, работников много, а у иного — вдова с сиротами, какая уж тут ровная мера, обидеть недолго», — и Владимир, признавая справедливость этого практического выражения, тут же принимался изобретать новые, более тонкие подразделения и исключения из общего правила, покуда простая, ясная система, задуманная им поутру за письменным столом, не превращалась к вечеру в столь запутанную сеть оговорок и частных случаев, что и сам он переставал уже понимать, чем эта новая, просвещённая роспись отличается по сути от прежнего, бранимого им произвола старосты, разве что требует для своего ведения куда большей учёности, каковой у Кузьмы не было и не предвиделось.

Финогенова разыскать для объяснений не удалось — тот, по слухам, переселился в другой уезд и от расспросов уклонялся, — а без него восстановить в точности картину случившихся за эти годы растрат оказалось делом почти безнадёжным, так что Владимиру, проводшему за счётными книгами не один вечер, оставалось в конце концов утешаться убеждением, скорее философическим, чем практическим, — что прошлого не воротить, что важнее не карать виновных, которых уже не сыскать, а установить на будущее время порядок разумный и справедливый, — убеждением, которое звучало превосходно в его собственных, ещё гёттингенских по складу рассуждениях, но не приносило имению ни единого лишнего рубля и не возвращало в амбары ни единой утраченной четверти хлеба.

К концу недели, потраченной на эти ревизии, Владимир пришёл к выводу, показавшему ему самому глубоким и неожиданным: что управлять государством — или хотя бы имением в двести душ — оказывается делом несравненно более сложным, чем судить о принципах справедливого правления за кружкой пива в гёттингенском подвальчике, — вывод, который менее гордый ум почёл бы уроком смирения, а Владимир, по свойственной ему склонности, поспешил обратить скорее в лишнее подтверждение той возвышенной, отвлечённой мудрости, что отличает мыслящего человека от людей простых, вроде Кузьмы, — от которого, впрочем, самое хозяйство в ближайшие месяцы продолжало зависеть куда больше, чем от всех принципов естественного права, вместе взятых.

Известие о том, что в соседнее имение — Онегино, как называли его по фамилии прежнего владельца, хотя официально оно именовалось иначе, — приехал новый хозяин, взбудоражило уезд с той быстротой и основательностью, с какой распространяются в провинции всякие новости, касающиеся холостого молодого человека с состоянием: не прошло и недели с его приезда, а сведения о нём — по большей части недостоверные, но оттого не менее охотно пересказываемые — уже успели облететь все окрестные усадьбы, обрастая по дороге подробностями, каких сам предмет пересудов, вероятно, немало удивился бы, доведись ему их услышать.

У Лариных, куда Владимир заехал в один из ближайших вечеров, разговор весь ужин вертелся вокруг нового соседа: Прасковья Ларина, узнавшая новости от ключницы, слышавшей их, в свой черёд, от кучера, ездившего с поручением в уездный город, сообщала с той смесью неодобрения и жадного любопытства, с какой провинциальные дамы говорят о столичных нравах, что молодой Онегин — человек, промотавший в Петербурге едва ли не всё состояние отца на балах да театрах, приехал в деревню не по доброй воле, а по необходимости поправить дела после смерти дядюшки, оставившего ему имение, — и что нравом он, говорят, холоден и высокомерен сверх всякой меры, ни с кем из соседей знаться не желает и даже в церковь, по слухам, не ходит, что уж вовсе, по мнению Прасковьи Лариной, не делало чести молодому наследнику.

Другие соседи, впрочем, толковали иначе: старуха Пыхтина, известная на весь уезд свахой, уверяла, будто Онегин красив собою чрезвычайно, воспитан по-столичному изящно и, конечно же, ищет невесту — мнение, немедленно вызвавшее у Прасковьи Лариной новый прилив интереса к персоне, о которой минуту назад она отзывалась столь неодобрительно, ибо в провинциальном уме сочетание холостяцкого состояния с молодостью и хотя бы отдалённой возможностью выгодного брака способно было примирить с любыми недостатками характера скорее, чем какая-либо иная добродетель.

Владимир, слушавший все эти пересуды с интересом, впрочем, довольно рассеянным — провинциальные сплетни казались ему после Гёттингена материей, недостойной серьёзного внимания, — тем не менее не мог не почувствовать лёгкого любопытства при мысли о том, что где-то поблизости поселился человек, повидавший тот самый свет, о котором сам он знал лишь понаслышке да по романам, — свет столичный, петербургский, отличный и от провинциальной усадебной жизни, и от университетской немецкой учёности, — и любопытство это, смешанное с тем нетерпеливым желанием обрести в новом месте хоть какого-нибудь равного себе собеседника, каких решительно не доставало ему среди соседей-помещиков, интересовавшихся урожаем куда более, чем Кантом, незаметно подготовило Владимира к той встрече, что не замедлила состояться уже в ближайшие дни, — встрече, о которой ни он, ни его новый сосед не подозревали ещё, что ей суждено определить всю их последующую, столь недолгую дружбу и её трагический конец.

Случай свести знакомство представился на большой дороге, разделявшей два имения, — Владимир возвращался верхом от Лариных, когда навстречу ему, со стороны онегинской усадьбы, показался всадник, в котором по одной уже посадке, безукоризненно небрежной, отличной от той крепкой, но неизящной манеры держаться в седле, что была принята среди уездных помещиков, нетрудно было угадать столичного жителя, — и Владимир, повинуясь скорее давешнему любопытству, чем какому-либо ясному плану, придержал коня и первым отвесил поклон, назвав себя соседом, только что вернувшимся из чужих краёв.

Онегин — а это был, разумеется, он — ответил на приветствие с той безупречной, отработанной годами светской учтивостью, за которой угадывалось не столько радушие, сколько давняя привычка соблюдать форму там, где содержание давно уже перестало что-либо для него значить: поклонился ровно настолько, насколько того требовал этикет, назвал себя в свою очередь, справился о здоровье соседей общими, ничего не значащими фразами, — и во всём

его облике, от небрежно повязанного шейного платка до того особого, чуть прищуренного взгляда, каким смотрят на мир люди, вкусившие от него уже более, чем способны выдержать без утраты вкуса к жизни, читалась Владимиру та самая скука, о которой столько толковали соседи, — скука, впрочем, не тяжёлая и не мрачная, а скорее лёгкая, привычная, ставшая для этого человека второй натурой, вроде того, как для иного человека второй натурой становится, напротив, неутомимая жизнерадостность.

Владимир, глядя на этого нового знакомого, испытывал чувство сложное и не вполне ему самому понятное: с одной стороны, холодность и явное отсутствие в собеседнике того пылкого интереса к жизни, каким был полон он сам, слегка его отталкивали, представляясь ему при первом взгляде чем-то вроде душевной черствости или, во всяком случае, крайнего разочарования в людях и вещах; с другой же — самая эта холодность, соединённая с очевидным светским лоском и явными свидетельствами широкой начитанности, проступавшими даже в немногих, брошенных вскользь фразах Онегина о каком-то недавно прочитанном французском сочинении, внушала Владимиру невольное почтение перед человеком, повидавшим и испытавшим на своём веку несравненно больше, чем он сам, при всём своём Гёттингене, — почтение, замешанное на той особой, простительной юности робости перед чужим, необъяснимым для неё самой превосходством опыта.

Разговор их, продлившийся не более четверти часа, покуда всадники ехали рядом до развилки, где дороги их расходились, коснулся вскользь и заграничных университетов — Онегин, узнав, что собеседник его учился в Германии, обронил замечание о немецкой философии, показавшееся Владимиру одновременно и метким, и до обидного пренебрежительным, что-то вроде того, что все эти системы хороши для юношеского возраста, покуда не успел ещё убедиться, сколь мало они применимы к устройству действительной жизни, — замечание, которое Владимир, вместо того чтобы оскорбиться, счёл проявлением того самого взрослого, выстрадавшего скептицизма, каким сам он ещё не обладал и который тем сильнее тапил его своей загадочностью.

Расставаясь, оба обменялись обещанием непременно продолжить знакомство — обещанием со стороны Онегина, вероятно, вполне формальным, продиктованным той же светской учтивостью, что и весь разговор, а со стороны Владимира — искренним и полным того нетерпеливого предвкушения, с каким ожидают встречи не просто с приятным соседом, а с человеком, способным, как ему уже мнилось, стать наконец тем равным собеседником, какого он тщетно искал среди всех прочих обитателей уезда с самого своего возвращения из Германии.

Обещание, данное на дороге, было исполнено скорее Владимиром, чем Онегиным, — не прошло и недели, как Владимир, не выдержав собственного нетерпения, сам явился с ответным визитом в онегинскую усадьбу, найдя хозяина в кабинете, обставленном с той нарочитой, слегка утомлённой изысканностью, какую наводят в деревенском доме люди, привыкшие к столичному комфорту и не желающие расставаться с его привычками даже в глуши: английские гравюры на стенах, беспорядочно, но со вкусом расставленные тома французских авторов, бюст какого-то философа на камине — обстановка, показавшаяся Владимиру воплощением того самого просвещённого, изящного быта, о каком он читал в романах, но какого не видел прежде наяву в русской деревне.

Онегин принял его с той же ровной учтивостью, что и при первой встрече, но на этот раз в разговоре, затянувшемся, вопреки всем ожиданиям хозяина, далеко за пределы обычного визита вежливости, обнаружилось нечто, чего ни один из них двоих не предвидел заранее: скука Онегина, о которой столько толковали соседи и которая была, в сущности, не чем иным, как крайним пресыщением однообразием всех и всяческих человеческих типов, какие успел он изучить в свете, нашла в этом простодушном, восторженном соседе редкое, почти забытое развлечение — развлечение подлинной, не наигранной новизны: перед ним сидел юноша, который верил — верил в дружбу, в любовь, в возможность разумного переустройства жизни,

верил со всей той горячностью, какой в петербургских гостиных Онегин не встречал уже давно, если вообще когда-либо встречал, ибо там подобная вера почиталась дурным тоном либо простым признаком провинциальной необразованности.

Владимир же, со своей стороны, испытывал в обществе Онегина то удовольствие, какое испытывает всякий одинокий мыслитель, найдя наконец слушателя, способного не просто кивать в ответ на его рассуждения, как кивал бы сосед-помещик, толком не понимая ни слова, а возражать — возражать умно, едко, со знанием дела, — что придавало собственным мыслям Владимира ту весомость и ту серьёзность, каких им не доставало в разговорах с Ольгой или с Кузьмой; самое несогласие Онегина льстило ему сильнее, чем польстило бы простое согласие, ибо свидетельствовало, что его наконец-то воспринимают всерьёз, как равного, достойного спора, а не как милого, но не вполне зрелого умом юношу.

Так, не сговариваясь прямо, оба вошли постепенно в привычку видаться едва ли не через день — то Владимир заезжал в онегинскую усадьбу засветло, оставаясь до ужина, то Онегин, вопреки своей всегдашней нелюбви к соседским визитам, сам являлся верхом к Ленским, привлечённый, как он говорил себе, всё той же скукой уединения, — и если спросить было бы обоих напрямую о природе этой внезапно возникшей дружбы, ни один не смог бы, пожалуй, назвать причины более веской, чем та самая, что применил впоследствии к их сближению рассказчик иного, более прославленного повествования: от делать было нечего, а человек, при всей своей философии, слишком слаб, чтобы долго выносить полное одиночество, покуда рядом есть хоть кто-нибудь, с кем можно скоротать вечер.

Спор этот, ставший впоследствии, по прошествии времени, для обоих чем-то вроде памятной вехи их дружбы, к которой они впоследствии не раз мысленно возвращались каждый по-своему, случился однажды вечером, когда Онегин, по обыкновению своему нехотя поддерживая разговор за бутылкой вина, привезённого им ещё из Петербурга и составлявшего в глазах Владимира предмет особого, почти благоговейного уважения, спросил напрямик, отчего его юный сосед, столько лет проводивший в учении за границей, кажется, до сих пор питает иллюзии, давно оставленные людьми, повидавшими свет.

«Какие же иллюзии вы разумеете?» — спросил Владимир с той горячностью, что мгновенно вспыхивала в нём при всяком намёке на возможность отстоять перед взрослым, испытанным собеседником собственные убеждения, и Онегин, отпив вина с тем неторопливым равнодушием, каким сопровождал обыкновенно самые язвительные свои замечания, отвечал, что разумеет прежде всего веру в дружбу, в любовь, в возможность прожить жизнь согласно каким-либо возвышенным правилам, — веру, которую сам он в своё время тоже питал, покуда свет не научил его, что дружба есть по большей части взаимная терпимость двух себялюбий, а любовь — не более чем фантазия, которую воображение облекает в костюм вечности лишь до тех пор, покуда не наскучит самому себе.

Владимир, вспыхнув, возразил с тем пылом, что немедленно припомнил ему все гёттингенские вечера, все споры с Августом о природе истинного чувства, — что дружба, испытанная им самим в братстве буршей, скреплённая общей верой и общей опасностью (тут он не преминул упомянуть, впрочем без излишних подробностей, о мензурах), не может быть сведена к простому расчёту двух себялюбий, а любовь — та любовь, что связывает его самого с Ольгой узами, идущими от самого детства, — есть чувство, проверенное временем и разлукой куда надёжнее всякой петербургской интрижки, о которых, вероятно, и судит его собеседник по собственному, увы, слишком богатому опыту.

Замечание это, дерзкое по тону более, чем то позволял себе прежде Владимир в разговорах с новым другом, не оскорбило Онегина, а, напротив, вызвало у него нечто вроде одобрительной усмешки — усмешки человека, находящего забавным не столько содержание возражения, сколько самый факт, что этот наивный юноша осмелился возразить ему столь решительно, — и он отвечал уже мягче, не то чтобы соглашаясь, но и не продолжая спор с прежним напо-

ром, заметив только, что дай Бог его молодому другу сохранить подобную веру подольше, ибо свет, рано или поздно, находит способ излечить от неё решительно всех, кто имел неосторожность её питать, — а самое печальное в этом излечении то, что происходит оно обыкновенно не вдруг, одним разочарованием, а медленно, незаметно, покуда однажды человек не обнаруживает, что верить-то ему, в сущности, уже и не во что, да и не хочется.

Владимир, слушая эти слова, ощутил в себе странную смесь противоречивых чувств — уязвлённого самолюбия, не желающего признавать за собеседником правоты, и того особого, сладко-тревожного трепета, какой испытывает юность перед пророчеством о будущем несчастье, которое кажется ей одновременно и невозможным применительно к себе самой, и оттого лишь тем более значительным и тапаящим, — и, возвращаясь той ночью домой верхом под звёздным небом, он твёрдо решил про себя, что докажет своему скептическому другу обратное самой судьбою своей грядущей жизни с Ольгой, ни на минуту не задумавшись о том, что самая эта решимость что-либо доказывать есть уже первый, хоть и неприметный шаг к тому самому спору с самим собой, семена которого Онегин, сам того не желая, только что в нём посеял.

Так, вечер за вечером, спор за спором, сложилась между ними та дружба, что продлится недолгие месяцы, отпущенные ей судьбой, но покажется впоследствии — и самому Владимиру в его недолгие оставшиеся дни, и всякому, кто станет впоследствии рассказывать эту историю, — явлением куда более значительным, чем то простое стечение обстоятельств скуки и одиночества, из которого она в действительности возникла. Виделись они теперь едва ли не через день, и порядок этих встреч, установившийся сам собою, без всякого уговора, приобрёл со временем ту прочность привычки, что нередко подменяет собою прочность подлинного чувства, не давая при этом заметить разницы ни одной, ни другой стороне.

Онегин, продолжая относиться к юному соседу с той же снисходительной, чуть насмешливой благосклонностью, с какой относится взрослый, немного уставший от жизни человек к простодушному, но забавному ребёнку, находил в этих встречах не столько дружбу в высоком смысле слова, сколько приятное, ни к чему не обязывающее развлечение среди деревенской скуки, — развлечение тем более ценное, что позволяло ему, не тратя душевных сил на подлинное участие, тешить собственное самолюбие ролью умудрённого наставника, чьё каждое слово выслушивается с почтительным вниманием; он подтрунивал над восторженностью Владимира, но подтрунивание это было беззлобным и происходило скорее от привычной ему манеры разговора, чем от какого-либо злого умысла, — так что сам Онегин, доведись ему честно ответить самому себе на вопрос о характере их отношений, вероятно, затруднился бы назвать их иначе, чем приятным знакомством, скрашивающим досуг, покуда не подвернётся дело поинтереснее.

Владимир же, со своей стороны, вкладывал в эту дружбу весь тот избыток пылкого, требующего выхода чувства, каким было полно его сердце со времён Гёттингена и какому, за отсутствием иного, более достойного применения, оставалось изливаться либо в стихах, обращённых к Ольге, либо в разговорах с новым другом, — и потому не замечал, или не желал замечать, той снисходительности, что сквозила в каждой онегинской усмешке, той иронии, что пронизывала едва ли не каждое его замечание, принимая всё это, напротив, за суровую, но благотворную школу зрелого ума, через которую ему посчастливилось теперь проходить рядом с человеком, повидавшим настоящий свет.

Так неравенство это — неравенство опыта, неравенство разочарования, неравенство, наконец, самой степени душевного участия, которое каждый вкладывал в их отношения, — оставалось невидимым для обоих участников, скрытое под ровной поверхностью приятельских бесед за вином и прогулок верхом, покуда не пришло время, когда неравенство это, до времени безобидное, обернётся вдруг обстоятельством самым роковым: ибо человек, скушающий и от скуки играющий чужими чувствами, редко отдаёт себе отчёт в том, сколь мало для него самого значит подобная игра и сколь много она может значить для того, кто в неё вовлечён всем пылом ещё не остывшего, ещё верящего в исключительность собственных переживаний сердца.



Глава 5. Деревня, где скучал Евгений

Дом Лариных, если сравнить его не с блистательным онегинским кабинетом, но и не с обветшавшим после ревизии хозяйством самого Владимира, представлял собою нечто третье — усадьбу, живущую не роскошью и не запустением, а той особой, ничем не нарушаемой размеренностью, что устанавливается в хозяйстве, где никто не стремится ни к чему новому, но и не позволяет старому вовсе прийти в упадок, довольствуясь неизменным повторением заведённого порядка из года в год, из поколения в поколение.

Прасковья Ларина, оставшись вдовой ещё до того, как Владимир уехал в Германию, вела дом с тем упрямым, беспорядочным, но действенным по-своему хозяйством, в основе которого лежала не столько система, сколько привычка, унаследованная от собственной матери и той — от бабки, так что самый распорядок дня в этом доме следовал не столько разумным соображениям, сколько календарю церковных праздников и им же установленным сроком солений, варений и заготовок: к Успению непременно варилось малиновое варенье, к Покрову засаливались огурцы, а на Введение начиналась многодневная, требующая всего дома суэта вокруг забоя птицы на зиму, — порядок, в котором самой Прасковье Лариной давно уже не приходило в голову усомниться, ибо сомнение это означало бы усомниться заодно и в самом устройстве мира.

В молодости, как о том знали все соседи, а сама Прасковья вспоминала с той смесью снисходительной иронии и лёгкой ностальгии, с какою вспоминают о собственных давно перегоревших увлечениях, она была отчаянной читательницей модных сентиментальных романов, вздыхала о некоем Грандисоне, чьё имя произносила и по сей день с придыханием при случае, и даже успела до замужества влюбиться заочно в один только образ, вычитанный из книги, — но брак, устроенный ей родителями по расчёту, а вовсе не по сердечной склонности, привычка к хозяйству и, наконец, самая проза деревенской жизни довольно быстро излечили её от этой книжной восторженности, обратив вчерашнюю мечтательницу в рачительную, хоть и не слишком строгую хозяйку, давно уже сменившую романы на песенник да на вечные заботы о соленьях и о будущем приданом дочерей.

Дом этот, деревянный, с той характерной несимметричностью пристроек, что вырастают на протяжении десятилетий по мере надобности, а не по единому замыслу, был обставлен просто, без всякой изысканности — старая мебель карельской берёзы, доставшаяся ещё от родителей самой Прасковьи, соседствовала с новыми, купленными на ярмарке безделушками, вроде расписных подносов или лубочных картинок на стенах девичьей, — и во всей этой обстановке не было ровно ничего, что могло бы поразить воображение постороннего наблюдателя, но было зато нечто, чего решительно не доставало ни в опустевшем после долгого сиротства доме Ленских, ни в холодновато-изысканном кабинете Онегина: тепло непрерывной, никогда не угасавшей семейной жизни, тот особый уют обжитого гнезда, что складывается не из вкуса и не из достатка, а из простого, десятилетиями не прерывавшегося присутствия под одной крышей одних и тех же людей, знающих друг друга до последней привычки и мелочи.

Именно в этот дом, столь непохожий на его собственный, и направлялся теперь Владимир при всякой возможности — не только ради Ольги, но и ради того самого тепла, какого лишился он с ранней смертью отца и какого не могла восполнить ему никакая, самая учёная германская премудрость, — и потому визиты его к Лариным сделались вскоре не менее частыми, чем визиты к Онегину, хотя предметы, влекшие его в тот и другой дом, были почти во всём противоположны друг другу, как противоположны были и два человека, ожидавшие его в каждом из них.

Татьяну — старшую сестру, которой шёл в ту пору семнадцатый год, — Владимир помнил с детства девочкой тихой и как-то в стороне держащейся от общих затей, но, вернувшись теперь из Германии и застав её вновь после четырёхлетней разлуки, он нашёл эту отстранённость не только не уменьшившейся, а как будто ещё более определившейся, обретшей ту законченную, взрослую форму, что отличает уже не детскую застенчивость, а сознательно избранный, хоть и не вполне осознаваемый самой избравшей его склад души.

В отличие от Ольги, чья живость и общительность делали её душою всякого общества, куда бы она ни попала, Татьяна в присутствии гостей — а тем более в присутствии молодого соседа, о чьей учёности и заграничном лоске судачил весь уезд, — держалась настолько незаметно, что Владимир, всецело поглощённый разговорами с Ольгой и с её матерью, попросту не давал себе труда останавливать взгляд на старшей сестре более одной вежливой минуты приветствия, — и потому не заметил, или заметил лишь краем сознания, не придав тому значения, что во время одного из его пространных, увлечённых рассказов о Гёттингене и германской философии, обращённых, по видимости, ко всему семейству разом, а на деле — исключительно к Ольге, единственным по-настоящему внимательным слушателем оказывалась вовсе не невеста, рассеянно вышивавшая в это время что-то на пяльцах, а её старшая сестра, застывшая в углу с раскрытой, но забытой книгой на коленях и не сводившая с рассказчика глаз с тем напряжённым, жадным вниманием, с каким слушают речь, отвечающую на давно и втайне вынашиваемый вопрос.

Читала Татьяна, как то было известно всему дому, без разбору и без меры — покойный Ричардсон соседствовал у неё на полке с новейшими, недавно вошедшими в моду романами ужасов, полными таинственных замков и злодеев-искусителей, — и мать её, Прасковья Ларина, наблюдая эту страсть дочери с тем же снисходительным недоумением, с каким некогда, вероятно, наблюдали за нею самою в девичестве, лишь вздыхала, что «Танюша у нас всё в облаках витает», — фраза, до странности похожая на ту, что применяли некогда к самому Владимиру в его отроческие годы, но которую он, разумеется, не имел случая ни услышать, ни сопоставить с собственным прошлым.

Ирония судьбы, невидимая пока ни одному из действующих лиц этой истории, заключалась в том, что из всего семейства Лариных — да, пожалуй, и из всего уезда — не нашлось бы никого, чья душа была бы устроена родственнее душе самого Владимира, чем душа этой молчаливой, погружённой в романы девушки, столь охотно, столь безошибочно узнающей в чужих отвлечённых рассуждениях о судьбе, о предопределении, о вечной, испытанной страданием любви — отзвук собственных, никем ещё не востребованных чувств; но Владимир, ослеплённый четырёхлетним культом младшей сестры, культом, возвращённым в разлуке с не меньшим усердием, чем возвращают редкое оранжерейное растение, не в состоянии был увидеть в старшей нечто большее, нежели тихую, слегка странную девицу, которой предстоит стать ему свояченицей, — оставляя тем самым читателю, более наблюдательному, чем сам герой, горькое удовольствие замечать то, чего не замечает он сам: что подлинно родственная ему по духу собеседница сидела всё это время в двух шагах от него, покуда он изливал душу перед той, что решительно не создана была её понять.

Уезд, в котором расположены были и Ленские, и Ларины, и — уже год как — Онегин, насчитывал десятка полтора помещичьих домов, разбросанных по окрестным просёлкам на расстоянии, удобном для взаимных визитов, но достаточно значительном, чтобы всякий выезд в гости почитался событием, заслуживающим особого приготовления, — и общество это, из года в год сходявшееся на одних и тех же именинах, святках и ярмарках, сложилось за десятилетия в некий устойчивый, почти неизменный набор типов, каждый из которых Владимир, вернувшись из Германии, узнавал теперь заново с тем смешанным чувством узнавания и лёгкого, интеллигентского превосходства, с каким образованный путешественник разглядывает этнографические особенности вновь посещаемого им края.

Первым среди этих типов был, конечно, Гвоздин, хозяин исправный, заводчик нищих, — сосед, чьё имя славилось на весь уезд отменной псовой охотой и не менее отменным равнодушием к судьбе своих же крепостных, о коих Гвоздин рассуждал за столом с той же деловитой отстранённостью, с какой рассуждал бы о поголовье скота; за ним следовал Пустяков, помещик пожилой и словоохотливый, чьё главное достоинство заключалось в неистощимом запасе анекдотов сорокалетней давности, пересказываемых им из года в год с неизменной свежестью, как будто слышит их застолье впервые; далее — Скотинины, чета почтенных лет, чей род занятий и разговоров ограничивался почти исключительно винокурением и хозяйственными расчётами, но которые, при всей ограниченности своих интересов, отличались тем неподдельным, бесхитростным хлебосольством, что заставляло гостя, покидающего их дом, чувствовать себя обязанным по гроб жизни за один только вечер угощения.

Разговоры в этом кругу, из вечера в вечер, из дома в дом повторявшиеся почти без изменений, вращались вокруг нескольких неизменных предметов: видов на урожай, достоинств и недостатков борзых собак, последних цен на хлеб, а также — неизменной темы всякого уездного застолья — предполагаемых и уже состоявшихся браков соседских дочерей, обсуждаемых с той же деловой обстоятельностью, что и цены на хлеб, — и всякий разговор, грозивший выйти за пределы этого привычного круга тем в сторону материй отвлечённых, философических или литературных, немедленно вызывал в собрании то особое, вежливое, но плохо скрываемое замешательство, каким провинциальное общество встречает всё, чего не может немедленно применить к собственному хозяйству.

Владимир, попадая в это общество после четырёх лет, проведённых среди университетских споров о Канте и о судьбах германского единства, испытывал поначалу нечто вроде культурного шока, смягчаемого, впрочем, тем обстоятельством, что общество это было ему с детства знакомо и не вызывало враждебности, а разве что снисходительную, слегка ироническую жалость мыслящего человека к людям, довольствующимся столь скромным кругозором, — жалость, которую сам он, по свойственному ему великодушию, старался не выказывать явно, охотно поддерживая разговор о хлебах и о собаках с тем же вниманием, с каким поддерживал бы разговор философический, хотя внутренне, разумеется, отделял себя от этого общества самой глубокой и самой лстящей его самолюбия чертой — тем, что он, единственный из всех, знает и о существовании иной, высшей формы бытия, недоступной пониманию всех этих Гвоздиных и Пустяковых.

Что до отношения самого уездного общества к Владимиру, то оно было отношением скорее благожелательным, чем насмешливым, — германская учёность его воспринималась соседями примерно так, как воспринимается всякая экзотическая, но безобидная причуда: как нечто, бесспорно, придающее молодому человеку вес и завидность в качестве жениха, но решительно излишнее и даже несколько комическое в качестве руководства для действительной, практической жизни, — так что не один из старших помещиков, встречая его на именинах, считал своим долгом заметить с добродушной улыбкой что-нибудь вроде: «Ну что, Владимир Дмитриевич, все философствуете? Смотрите, доброго молодца философия не кормит, урожай кормит», — замечание, которое Владимир выслушивал с вежливой улыбкой превосходства, не замечая в нём той доли житейской правды, что предстояло ему на собственном опыте познать значительно позже и при обстоятельствах несравненно более суровых, чем уездное застолье.

Святки в тот год выдались морозными и снежными — тем самым, каким полагалось им быть по всем правилам народного календаря, — и весь дом Лариных на протяжении двух недель, от Рождества до Крещения, жил особой, лихорадочной жизнью, подчинённой не будничному распорядку варений и заготовок, а иному, куда более древнему и таинственному кругу обрядов, унаследованных от бабок и прабабок и соблюдаемых с тем усердием, что не допускает и тени сомнения в их действенности, как бы ни улыбались втайне над этими обрядами люди, почитающие себя просвещёнными.

Гадали всем домом и всей дворнею вместе — девушки собирались по вечерам в девичьей, где кольца и серьги бросали в блюдо с водою под пение подблюдных песен, предвещавших каждой своё: то замужество, то дальнюю дорогу, то, не приведи Господь, вдовство, — топили воск и лили его в холодную воду, вглядываясь в причудливые тени застывших фигур в поисках знамений грядущей судьбы, а самые смелые из дворовых девушек решались и на страшное гадание с зеркалом да свечой в полночь, о котором наутро рассказывали шёпотом, вздрагивая при одном воспоминании.

Владимир, заставший часть этих обрядов во время одного из вечерних визитов, наблюдал за ними сперва с той же снисходительной, полуучёной улыбкой, с какою наблюдал за разговорами соседей о хлебах и собаках, находя в народных суевериях лишь любопытный этнографический материал, достойный разве что упоминания в письме к немецкому приятелю как курьёзная черта отечественных нравов, — но подобное отстранённое любопытство оставило его довольно скоро, стоило ему заметить, с каким истовым, почти благоговейным вниманием следит за этими гаданиями Татьяна: она, обыкновенно чуждавшаяся общего девичьего веселья, в эти святочные вечера преображалась, участвуя в обрядах с той же полной, самозабвенной серьёзностью, с какою читала свои романы, — верила, казалось, в них не полусуто, как верили ей подруги, для которых гадание было прежде всего поводом для смеха и визга, а серьёз, как верят в откровение, способное приподнять завесу над тайной, которую разум, по её глубокому и невысказанному убеждению, не властен постичь иным путём.

Владимир, замечая эту истовость, приписывал её — в согласии с общим своим взглядом на старшую Ларину как на существо несколько странное и не вполне обычное — простой суеверности, свойственной, по его мнению, недостаточно образованному уму провинциальной барышни, воспитанной на романах ужасов вместо строгой философии, и не давал себе труда задуматься над тем очевидным сходством, что связывало эту веру Татьяны в тайные знаки судьбы с его собственной, столь же не поддающейся рассудочному объяснению верою в предопределённость собственного союза с Ольгой, в мистическую, свыше начертанную связь двух сердец, — сходством, которое иной, менее ослеплённый собственным чувством наблюдатель немедленно распознал бы как две ветви одного и того же корня: тяги юной, ищущей смысла души к тайне, к предчувствию, к вере в то, что судьба человеческая пишется не одной лишь волей случая и расчёта, но неким высшим, хоть и облакающим в разные одежды — то в кантовскую метафизику, то в подблюдную песню — порядком вещей.

Механика распространения известий в уезде работала с точностью и быстротой, которым позавидовала бы иная столичная почтовая контора, — довольно было какой-нибудь горничной обмолвиться словом кучеру, кучеру — конюху соседнего имения, а тому — своему барину за утренним докладом, чтобы новость, самая незначительная сама по себе, к вечеру того же дня облетела три-четыре ближайших дома, обрастая по пути подробностями, каких не было в первоначальном известии, но без которых оно казалось пересказчикам недостаточно интересным для дальнейшего распространения.

Так, известие о том, что Онегин зачастил к молодому Ленскому, поначалу вызвавшее в уезде лишь сдержанное недоумение — «что нашёл столичный гордец в нашем простодушном соседе?» — довольно скоро обросло целой системой толкований, соперничавших друг с другом в изобретательности: одни, вроде Пустякова, полагали, что Онегин попросту одинок и рад любому обществу, лишь бы скоротать деревенскую скуку; другие, более склонные к романтическому объяснению, вроде старухи Пыхтиной, уверяли, что Онегин, приметив Ольгу, ищет через дружбу с женихом благовидного предлога чаще бывать в доме Лариных, — толкование, которое Прасковья Ларина, услышав, отвергла было с негодованием, но в глубине души не преминула взвесить с той же практической обстоятельностью, с какою взвешивала прежде и сватовство самого Онегина к собственной особе.

Третьи же, к числу которых принадлежал и Гвоздин, судили проще и приземленнее: что дружба эта, по всей видимости, замешена на общей для обоих молодых людей учёности, столичной ли, заграничной ли — не всё ли равно, — учёности, одинаково непонятной и одинаково подозрительной практическому уездному уму, склонному видеть в чтении книг сверх нужной для ведения хозяйства меры скорее опасную причуду, чем достоинство, — так что дружба Онегина с Владимиром, вместо того чтобы возвысить обоих в глазах соседей, странным образом объединила их в общем подозрении: не замышляют ли эти двое, при своей учёности, чего-нибудь неподобающего доброму, испытанному веками порядку уездной жизни.

Владимир, узнавая о подобных толках частью от самой Ольги, частью от неизбежных в таких случаях доброхотов, спешивших передать ему услышанное с видом сочувственного предостережения, отмахивался от них с тем презрением к пересудам, каким отличается всякий молодой человек, уверенный в возвышенности собственных побуждений и в неспособности толпы их понять, — не замечая, впрочем, что самая настойчивость, с какою уезд связывал его имя с именем Онегина, свидетельствовала о том, сколь заметной и сколь нехарактерной для здешних мест сделалась их дружба, а следственно — сколь пристальному вниманию суждено было в дальнейшем подвергнуться всякому недоразумению, могущему в этой дружбе возникнуть.

Зарецкий, чьё имя суждено было впоследствии вписаться в историю этого уезда куда прочнее, чем то предполагали покамест самые невинные обстоятельства его появления в этой главе, поселился неподалёку года за два до возвращения Владимира, купив небольшое, но исправное именье на деньги, происхождение которых сам он излагал не иначе как с туманными намёками на некое давнее, но чрезвычайно выгодное дело, — намёками, которым мало кто в уезде верил буквально, но которые никто не решался и опровергнуть прямо, ибо человек этот, при всём добродушии, отличался нравом задиристым и в спорах несговорчивым, храня, как видно, ещё привычки прежней своей жизни.

А жизнь эта, известная соседям по обрывочным рассказам да по слухам, докатившимся из столицы, была в своё время бурной: Зарецкий смолоду слыл отчаянным картёжником, спустившим за игорным столом не одно состояние — своё и, по слухам, не только своё, — а в молодые годы почитался и записным бретёром, охотником до дуэлей, которые затевал, если верить наиболее ядовитым пересказчикам, порою по причинам столь ничтожным, что впоследствии сам не мог их толком припомнить, находя особое, почти артистическое удовольствие в самой процедуре вызова, переговоров через секундантов и торжественного разрешения ссоры у барьера, — удовольствие, надо думать, тем более острое, что риск для собственной жизни в подобных поединках сам он, по общему мнению, всегда умел искусно свести к минимуму, оставляя главную опасность противнику.

К тому времени, когда судьба свела его соседством с Ленскими и Лариными, бурная молодость эта была, впрочем, давно позади: Зарецкий, порастратив состояние и утратив с годами прежнюю резвость, обратился в помещика мирного и даже добродушного, развёл огород, коего плодами угощал соседей с гордостью настоящего агронома, и слыл в уезде хозяином хоть и небогатым, но хлебосольным, — а от бурного прошлого своего сохранил разве что неизменную страсть к разговорам о чести, о правилах поединка и дуэльном кодексе, которые излагал при случае с той педантичной обстоятельностью знатока, с какою иной старый служака рассуждает о тонкостях устава, давно уже никем на практике не применяемого, но памятного ему во всех подробностях.

Владимир, знакомый с Зарецким по нескольким уездным застольям, находил в нём собеседника хоть и не равного себе по учёности, но по-своему занимательного — старого дуэлянта, охотно делившегося воспоминаниями о столичных нравах двадцатилетней давности, — и относился к нему с той лёгкой снисходительностью, с какою относился ко всем прочим соседям, не подозревая покамест и тени того, сколь скоро предстоит ему обратиться к этому

самому Зарецкому не за занимательной беседой за обеденным столом, а за куда более мрачной услугой — тою самой, к исполнению которой весь причудливый жизненный путь этого человека, сам того не ведая, готовил его едва ли не с юности.

Если самому Владимиру уездное общество представлялось предметом снисходительного, хоть и беззлобного наблюдения, то и он сам, со своей стороны, давно уже сделался предметом столь же пристального, хоть и по-своему благожелательного наблюдения со стороны этого общества, — наблюдения, в котором сходились несколько различных, порою противоречивых точек зрения, каждая из которых по-своему верно, хоть и однобоко, схватывала те или иные стороны его натуры.

Для матерей семейств с дочерьми на выданье — а таковых в уезде набиралось не менее полудюжины — Владимир Ленский являлся прежде всего чрезвычайно завидной партией: молод, собою недурен, с университетским, хоть и заграничным образованием, придающим ему в глазах провинциального общества особый, трудноопределимый, но несомненный лоск, да ещё и наследник хоть и расстроенного за годы малолетства, но вполне поправимого хозяйства, — обстоятельство, тем более досадное для этих матерей, что жених столь завидный оказался, по общему и давнему сговору, уже прочно просватан за Ольгу Ларину, оставляя прочим уездным барышням разве что горькое удовольствие вздыхать о нём издали да находить утешение в мысли, что, может статься, дело ещё расстроится.

Для мужской же половины уездного общества Владимир представлял собою фигуру более сложную для однозначной оценки: с одной стороны, молодой человек воспитанный, учтивый, охотно поддерживающий беседу и не заносчивый, каким мог бы стать иной, менее скромный нравом наследник, — качества, снискавшие ему общее расположение; с другой же — та самая «учёность» и «мечтательность», о которой уже шла речь, вызывала среди степенных помещиков смесь снисходительного умиления и лёгкого, не всегда доброжелательного недоумения, находившего себе выражение в разговорах, которые велись обыкновенно за его спиной, а не в лицо: «Философ у нас растёт, лектриситет какой-то немецкий изучал, говорят», — замечал по этому поводу Гвоздин с той интонацией, в которой уважение перед непонятым соседствовало с явным сомнением в практической пользе подобной учёности для будущего хозяина двухсот душ.

Особое место в этих пересудах занимал вопрос о стихах, которые Владимир, вопреки собственному благоразумию, не удерживался иной раз читать вслух в гостях, поддавшись минутному воодушевлению, — стихи эти, полные туманных образов и возвышенных чувств, встречались уездными слушателями по большей части с вежливым, но явно недоумевающим молчанием, прерываемым разве что репликой какой-нибудь чувствительной барышни вроде «Ах, как это мило, Владимир Дмитриевич!», произнесённой без малейшего понимания подлинного смысла услышанного, но с полной уверенностью, что похвала уместна там, где не вполне ясно, чему именно аплодировать, — реакция, которую сам Владимир по обыкновению своему истолковывал скорее как знак тонкого чувства, разлитого в самом воздухе провинциального общества, чем как то, чем она являлась на самом деле: простой светской вежливостью перед лицом малопонятного зрелища.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.